



1989

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ბ. 559 მთა  
ბ. ჯანაშია  
 25.03.1989  
 ი. ბუჩუყ



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ.** Енгед. Повесть. Перевод Виктории Зининой . . . . . 3
- МЕДЕЯ КАХИДЗЕ.** Стихи. Перевод Олега Боброва . . . . . 31
- ЛАЛИ ДЖАПАРАШВИЛИ.** Стихи. Перевод Михаила Шора . . . . . 33
- РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ.** Кривой Миха. Рассказ. Перевод Зураба Ахвледиани 35
- ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ.** Стихи. Вступительное слово Валентина Никитина . 70
- ГЕОРГИЙ ГУЛИА.** Аравийская повесть. Окончание. . . . . 78

### ПИСАТЕЛЬ И ИСТОРИЯ

- ТАМАЗ НАТРОШВИЛИ.** Апология позабытого героя . . . . . 138

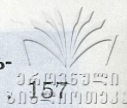
3

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси

Журнал выходит с июня 1957 года



РЕЦЕНЗИИ



**МИХАИЛ БУЯНОВ. Возвращение к стабильности** . . . . .

**КАРЛО КОБЕРИДЗЕ. Неизвестный, которым мы гордимся** . . . . . 164

**АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ. Островок надежды** . . . . . 167

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

**ТАМАРА ЦУЛУКИДЗЕ. «Долгих лет нескончаемой ночи страшной памятью сердце полно»** . . . . . 175

**ВАСИЛИЙ КИКНАДЗЕ. Кавказ, вдохновитель муз...** . . . . . 188

ПУБЛИЦИСТИКА

**ЛЕВАН СУЛАКВЕЛИДЗЕ. Медлить нельзя!**  
Перевод Роберта Златкина . . . . . 190

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

**ВАЛЕРИАН УТУРГАУРИ. «Грузинский феномен»** . . . . . 210

КУРЬЕЗЫ, КУРЬЕЗЫ...

**МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ. Несколько слов в дополнение** . . . . . 223

**ХРОНИКА** . . . . . 30, 69

**КНИЖНЫЕ НОВИНКИ** . . . . . 187

# ЕНГЕД

## ПОВЕСТЬ

В начале лета я получил от одного русского кинообщества предложение поехать с экспедицией в Хевсурети в качестве знатока грузинского языка. С большой радостью принял я это предложение — ведь для меня открывалась возможность познакомиться с таинственнейшим не только в Грузии, но и на всем Кавказе племенем. На расстоянии хевсуры представлялись мне живым осколком некоего безымянного, пришедшего из глубокой древности народа.

В один из солнечных дней мы и отправились в путь из Владикавказа. Экспедиция состояла из четырех человек, я был пятым.

Военно-Грузинская дорога, на мой взгляд, совершенное создание природы, не только потому что она красива и чарующа; в других краях, вероятно, можно отыскать место и покрасивее. Дорога эта — цельное, рукотворное создание, гармонично протянутое на 200 километров, — в этом ее преимущество. Любая часть ее ландшафта — часть композиционно строго сохраненного целого. Надо выехать из Владикавказа, чтоб доподлинно ощутить ее красоту — из Тбилиси она может показаться полоской прокрученной в обратную сторону киноленты. Земля здесь и в самом деле «праматерь-земля», теплая и плодоносная. С душевным трепетом ощущаешь живое присутствие мифа, дух первозданного.

Достигли Дарьяльского ущелья. В самом звучании

---

Енгед — оазис на западном берегу Мертвого моря, его виноградники — метафорический образ возлюбленной в «Песне песней».



слова «Дарьял» — волшебная сила этого места. Безмолвные горы выдыхают тишину. Но это не покой вовсе — оцепенело все вокруг: точно волны шквального океана окаменели. Казалось, неистовый Микеланджело работал здесь и обезумел от титанического напряжения — и вместо совершенного творения мы зрим хаос владений зловещего Демона. Могильная тишина скал, расщелин, глыб. Время от времени кажется: вот-вот взорвется бездвижность бесконечных элементов, и все низвергнется вниз сорвавшейся лавиной. Шум Терека нарушает и в то же время еще более подчеркивает тишину скал. Страх охватывает тебя нечеловеческий.

Преодолев ущелье, мы подошли к небольшому селению Казбеги. Справа показалась гора Казбек, покрытая вечным снегом. Она стоит уединенно, погружившись в себя: будто бы в недрах ее ничего не происходит. Стоит, отрешенная, не замечая ничего вокруг, неприступная и независимая. Порой кажется, что она, освободившись от тяжести земли, растворяется в беспредельности, вернее, сливается с ней.

Прошли поселок Казбеги. Приблизились к Млети. Когда после Дарьяльского ущелья достигаешь Млети, ощущаешь день седьмой сотворения мира: такое здесь разлито блаженство. Кажется, вместе с землей несешься в какой-то неведомый край. Все здесь овеяно нежностью и теплом. Исподволь пронизывает душу воздушная даль. В минуту расставания с бранным миром мне хотелось бы непременно оказаться в Млети. В Душети мы наняли лошадей и проводника и направились в Жинвали. Здесь соединяются две ветви Арагви: Пшавской и Мтиулетской. Из Жинвали через Магароскари пошли по направлению к Шуапхо, достигли места, где Арагви делится на две ветви и где начинается труднопроходимое ущелье.

Я знал, что пшавы — поэты, и все же не мог не удивиться, когда в лесу нам повстречались деревья с вырезанными на стволах стихами. Я почувствовал, что и эти стихи, как и растения, — неотъемлемая часть природы. Стало труднее идти. Кое-как преодолели тропинку на головокружительной высоте вдоль расщелин и, пройдя несколько верст, подошли к деревне Матура. Тропинка звалась «прыжок пшава»; по преданию, здесь некий пшав свалился с лошади в пропасть. Повсюду—



каменные ступени и над оврагами мостики — огромные бревна, перекинутые от края одной скалы к другой. Ширина дороги местами едва достигает четверти аршина. А внизу в преисподней пенится Арагви. Все окрест вселяет ужас: сердце начинает тревожно колотиться.

От Матуры мы пошли в северном направлении, где рядом с Арагви шумит другая река. Неожиданно возникает огромная горная вершина, за которой — Хевсурети. Крутая тропинка становится все более и более опасной. Вокруг разлита тишина. И мы молчим. Достигли перевала. И тут с обеих сторон горной вершины оторвался туман, который удивительно быстро стал расти и в несколько минут окутал все окрест. Страх усилился. Но вместе с тем ощутили мы нечто странное: будто бы гора — это корабль, огромный и мощный корабль, и мчал он нас в бесконечность, в молочную близну неба. В какую-то долю секунды мне почудилось, что я коснулся завесы, за которой — Вечность. Заповедная мечта, с которой я отправился в путешествие, обратилась в нежную и светлую элегию.

Пустынно и тихо. Мы прошли еще несколько верст. Ущелье чуть-чуть раздалось, стали встречаться лесистые места. Мшистые скалы дремали.

На темно-сером кремнистом песчанике сверкали огромные теплые пятна. Вдали снежные массивы гор, ближе к нам — расщелины. Холмы с островками зелени. Среди них — золотистые пшеничные поля. Показалась первая хевсурская деревня, которая напоминала больше крепость из-за теснившихся один за другим выстроенных из песчаника домов с башнями. Дома и скалы были одного цвета. Казалось — дома вырастали из скал. Настоящее орлиное гнездо.

В одном из проулков мы повстречали хевсура. Ему было не более двадцати двух лет. Он стоял и смотрел на нас с напряженным вниманием. Когда я заговорил с ним по-грузински, лицо его посветлело. Он был среднего роста. Одет по-хевсурски: короткая черная джуба-кацавейка, украшенная вязанными величиной с кисть крестами, поверх красной шерстяной рубашки с расшитыми бусинками полосами у ворота и на груди. Брюки неширокие, с темно-серыми подвязками от пяток до колен. На плече щит из кованого железа, на поясе

меч с прямоугольной рукояткой, на ремне кинжал; в руке пастушья плеть — кожаная плетенка с проволокой. Хевсур был худощав; лоб высокий; кость у виска тонкая, подбородок заостренный; уши слегка оттопыренные; лицо цвета обожженного кирпича; скулы отличались крепостью; плотно обтянутые кожей мышцы лица свидетельствовали о силе; огромные серые глаза с печально опущенными верхними веками — не из-за синего ли мерцания снежной долины? В облике его ярко проступали характерные духовные качества племени, к которому он принадлежал: настороженность и гордая сдержанность, задиристость и бесстрашие, упрямство и отчаянность. Подозрительность сочеталась в нем с детской робостью и почтительностью перед старшими. Говорил он громко, коротко и четко. «Грузин?» — спросил он. «Частично», — ответил я, помедлив. Надо было видеть его лицо! Человек цельной натуры, не ведающий, что такое раздвоение, он, разумеется, не понял слова «частично». «Что такое это частично?» — нахмурился он. Я должен был разъяснить. По отцу я русский, фамилия моя Валуев, а мать — грузинка. Родители и сегодня живут в Тбилиси. Родился и рос в Грузии, чувствую, что во мне больше грузинского, нежели русского. Но по бумагам я все-таки русский. «Моя мама грузинка», — сказал я хевсуру. «Отец?» — спросил он с легкой улыбкой. «Отец русский», — ответил я. Хевсур вновь насупился. «Как зовут тебя?» — он взглянул мне в глаза. «Георгий Валуев». Хевсур повторил: «Георгий... Гиварги». Русское имя Георгий он заменил хевсурским «Гиварги». Он попытался изменить на хевсурский лад и фамилию, долго жевал-пережевывал ее и наконец произнес «Валуаури». «Хочешь сделать из меня хевсура?» — спросил я с улыбкой. «А что? Разве плохо?» — вновь мелькнула и на его лице улыбка. Четкими, стальными слогами он повторил: «Гиварги Валуаури». Слово окрестил меня хевсуром.

Тем временем камера не простаивала: мои спутники снимали его. Фотоаппарат не вызвал у него никакого удивления. Странными казались мы; остальное он воспринимал как само собой разумеющееся. Если бы в эту минуту перед ним стояли Наполеон или Гете, он бы не пришел в изумление; несомненно, держался бы с почтением, но в то же время внутренне был бы убеж-



ден, что где-то, в каком-то существенном колене бытия он стоит выше них. Хевсур предстал перед нами внутренне цельным и гордым, но не надменным.

«Грузинский хорошо знаешь...» — произнес он удовлетворенно. Это большая похвала из уст хевсура. И Мгелика Алудаури — так звали этого первого повстречавшегося нам хевсура — повел нас в деревню.

Солнце стояло высоко, но не жгло. Тучи стелились тенью над зелеными окрестностями. Стало легче на сердце. Все вокруг пробуждало радость: течение реки, изумрудная зелень дикуши, щетинистые склоны гор в зеркале сверкающего водопада, мшистые расщелины. Охотно открывалась нам Хевсурети. Мы спешили. Рядом со мной плечом к плечу шел Мгелика. По пути встречались обожженные молнией, но все еще крепкие дубы. Мысленно я сравнивал Мгелику то с дубом, а то и с самой молнией. Вдруг я заметил надпись на скале, у самого подножия. Остановился, чтоб прочесть. Мгелика молча наблюдал за мною. Пошли дальше. И вновь надпись на камне. Удивление мое росло. Вспомнились письма времен Ахеменидов в Мидии. Кратко повествовали в них мидийские цари о своей жизни. Хевсуры же оставляют на камнях рассказ о своем поэтическом видении мира. Внимательно читал я высеченные острой сталью стихи. О многом они могли поведать: об охоте на туров, победах или поражениях охотников, о поединках. «Здесь обитают потомки Гомера», — подумалось мне. Я хорошо знаю грузинскую поэзию. И хевсурские и пшавские истоки мне знакомы. Сборник стихов Важа Пшавела в путешествиях всегда со мной. Не знаю, с кем бы я мог сравнить его в современной грузинской поэзии. Его поэтическое горение сродни экстазу первобытного человека, который, случайно потирая друг о дружку дубовую кору, высек впервые искру. Помню лето 1915 года, когда великий поэт умирал в одной из тбилисских больниц. Страстно хотелось ему тогда увидеть еще раз родные края — чувствовал, что переходит в обитель отцов и дедов? — попытался встать. Не смог, бедняга. Попросил принести ему веточку с листьями — принесли. Попросил кувшин родниковой воды — принесли. Прижал он к груди ветвь — ощутил ее свежесть. Пригубил кувшин — ощутил заманчивую



жизнерадостность ручья. Так прикоснулся он к земле, к матери — пламенный певец Гильгамеша и Илиады.

Я стал читать вслух стихотворение Важа Пшавела. Удивленный и радостный, слушал меня хевсур. Поток звонкого металла низвергались слова в глубь молчаливых расщелин. Важа Пшавела писал на пшав-хевсурском диалекте. Диалект этот — не провинциализм, скорее — архаизм. Лаконизм доведен в нем до крайности. В стихах это проявляется ярче, поскольку внутренне они строятся как эллипс. Слова здесь — корни бытия, они еще не утратили аромата первожданности. Метафоры — не простые сравнения, а сама действительность, отраженная в отдельных предметах или явлениях. Каждое выражение здесь первоначально, как пламя.

Мои спутники были заняты фотографированием. Я продолжал читать и пьянел от собственного голоса. Хевсур слушал меня, как затаившийся зверь. Вдруг он сорвался, вскочил на один из выступов и обвел взором буйствующую зеленью окрестность. И тоже стал читать стихи. Горцы привыкли окликать издали друг друга, у них широкие от чистого горного воздуха легкие. И не удивительно, что у них сильный голос. Мгелика читал стихи о том, как кистины угнали у тушин отару, как тушины бросились в погоню и победили в схватке. Угроза и месть звучали в словах хевсура. И только? Мгелика продолжал читать: тушины не смогли повернуть отару; крепкорогий вожак стремительно неся вперед, а за ним и вся отара, — Мгелика замолк на мгновение, лицо его преобразилось, — и тогда тушины были вынуждены пристрелить вожака-любимца, чтоб остановить отару. У Мгелики увлажнился взор. Я слушал затаив дыхание. И вот другой рассказ: охотник отправился охотиться на тура; повстречался с тигром; одним выстрелом уложил зверя наповал; но зверь успел задеть охотника лапой — и оба они свалились в пропасть.

Отдохнув немного, Мгелика продолжил: мать охотника оплакивает погибшего сына; но отдает должное и тигру — для охотника большая честь погибнуть в схватке с ним. Стихи на этом не кончаются: мать охотника видит во сне, как тигрица-мать плачет над своим погибшим сыном. Мгелика замолк. Я стоял недвижно. Какой светлой нежностью пронизан конец баллады,

каким состраданием! В космическую грусть перерастала роковая встреча охотника и тигра. Мне казалось, что среди этих гигантских скал, окутанных нисходящей неизмеримой высоты тишиной, я слушал голос Орфея.

\* \* \*

Мгелика вел нас к себе. Мы приближались к деревне, напоминающей крепость. Дома на склоне горы высились один над другим, двухэтажные, так что кровля нижнего этажа служила балконом для верхнего. Крыши замазаны глиной, перемешанной с песком. Верхний этаж сколочен в основном из дерева, нижний выстроен пористым камнем и стены оштукатурены не известью, а глиной.

Первыми встретили нас собаки, огромные белые овчарки, коротконосые, широкомордые, с наостренными ушами. Завидев нас, они зарычали, скаля зубы. Мгелика сверкнул на них глазами и что-то шепнул — собаки тотчас уgomонились.

Вечерело. Мгелика пригласил нас в дом. Мы вошли в комнату на первом этаже, сели. Стулом служил обрубок дуба о трех ветвях; было довольно просторно, но темно. Свет проникал через единственное оконце, затянутое бычьим пузырем. У одной стены — очаг, выложенный камнем; горел кизяк, издавая едкий запах. Над очагом — кастрюля на цепи, вдоль стены — мешки с мукой и пшеницей, ящики, утварь. На другой стене висело оружие — мечи, кинжалы, щит, панцырь, налокотники. Под чердаком на нитях разной величины подвешены овечьи кости, по их числу можно было судить о том, сколько забито скотины. Рядом с очагом матерчатым пологом отгорожен участок, где содержались четвероногие. Плотной тканью отделялась площадь, предназначенная для женщин.

Гости чувствовали себя не очень-то уютно, но я очень быстро освоился. В том, как был устроен здесь быт, я почувствовал элементарную связь человека и животного мира. Одно меня удивило: нигде не увидел я белого пятна, ни в одежде, ни в имуществе, ни в убранстве. Невыразимая печаль лежала на всем.

Я, мои спутники, Мгелика с отцом и братьями сидели по одну сторону стола, женщины — чуть поодаль: они улыбались, изредка шутили. Накрыли на стол: при-



несли черствый ржаной хлеб, овечий окорок, по-особому выделанное турье мясо и водку. Мгелика, преклонив колена, подавал гостям полные роги. Один из его братьев рассказал сказку. Потом братья запели — о том, как хевсуры в одной из битв вынесли с поля боя царя Ираклия — проиграв битву, он не хотел возвращаться живым. Затаив дыхание, слушал я мелодию: это был поистине величественный плач. В сравнении с песнями других грузинских племен песни хевсур — скорее плач, нежели песня. В них — та же печаль, что и во всем. Было слышно, как за перегородкой ворочался во сне молодой.

После ужина Мгелика проводил нас на второй этаж — отдохнуть. Мы предпочли спать на балконе. Постелили тулупы, разложили подушки и укрылись дорожными одеялами. Стояла светлая, привычная — для гор, ночь. Уставшие, смотрели мы в далекое и необозримое небо. Мои спутники скоро уснули, а я все не мог оторвать взгляда от неохватного неба. Удивительно: мне казалось, что сердце мое, переполненное необъяснимыми грезами, отделилось от меня. И еще более удивительно: я чувствовал, как наполнялось мое усталое тело неизведанной, нахлынувшей на меня силой. В мечтах я медленно погружался в тяжелый сон.

\* \* \*

На другой день я увидел во дворе детей — они сражались на деревянных мечях с чуть загнутым концом. Маленькие круглые щиты изготовлены из ивовой коры. Я был приятно удивлен: мальчики недурно владели искусством фехтования, строго соблюдали при этом правила поединка, хотя каждый из юных соперников не прочь был подчеркнуть свое превосходство. Я попросил одного из мальчиков одолжить мне меч. Он смотрел на меня с удивлением. Но с еще большим удивлением взирал на меня Мгелика — он оказался здесь неожиданно для меня — когда увидел в руках моих меч. «Можешь фехтовать?» — спросил он с легкой усмешкой, сомневаясь в том, что пришелец из долины способен соперничать с горцем. «Да, могу», — ответил я с улыбкой. «Сразишься со мной?» — величественно произнес он. «Охотно», — согласился я.

Мгелика вернулся в дом и спустя несколько минут



16 0359 20  
1110333

вышел с двумя мечами. «Выбирай!» — предложил он. Я стал рассматривать мечи и был немало удивлен, увидав на них латинские надписи: на одном — А. М. Д., может «Ave mater dei?», на другом — «Deua». Как попали в Хевсурети эти мечи?

Я выбрал меч с изображением волка. В памяти всплыло: у Дон Кихота — приказавшего открыть клетку со львом — не оказалось меча с изображением волка. Я же в Хевсурети, оторванном от всего мира, держал в руке меч с изображением волка. Мгелике достался — с орлом.

Мы фехтовали долго. Мгелика энергично наступал, я же защищался, притом довольно ловко, что радовало его. «Ого, ты, оказывается, владеешь оружием», — сказал он и опустил меч. Я молчал. Он поспешно вернулся в дом и вынес миску. «Хорошо стихи читаешь, и оружием владеешь — хочешь стать моим побратимом?» — спросил он сдержанно. «С радостью», — ответил я. Мгелика взял кусочек серебра, соскреб стружки в миску, наполнил ее пивом, и мы, передавая миску друг другу, трижды отпили пива. Так мы побратались. Отныне мы были связаны одной судьбой.

\* \* \*

Приближался храмовый праздник Хахматисджвари. Я не сказал об этом моим спутникам; опасался, что при гостях хевсуры не будут строго следовать обряду; я же не был для них чужаком, во-первых, знал грузинский, во-вторых, был побратимом Мгелики, стало быть — я уже свой человек. Мои спутники направились в Хахабо, мы же с Мгеликой поспешили в Хахмати. Неподалеку от Гудани слева обогнули гору, на которой возвышалась крепость царицы Тамар. Спустились вниз, к усыпанному альпийскими цветами холмам. Наконец достигли Хахматской долины, раскинувшейся по обеим берегам реки. Чуть поодаль, в местности, считающейся святой, где запрещено даже веточку сломать, стоит хати—святилище, выстроенное из простого камня. В ограде на огромных глыбах покоились рога тура и оленя. Рядом с хати — небольшая постройка, где хевсуры ночевали в праздники. Ниже — второе маленькое строение. Вокруг — лачуги; в одной варят ритуальное пиво; в другой — держат его; в третьей — хранят пше-

ницу. Хати невысокое и темное. Я удивился тому, что в нем не оказалось иконы; зато было множество <sup>коди</sup> деревянной посуды в 2 пуда с четвертью, а также <sup>кувш</sup> кувшины, кастрюли, чаны, оршимо — черпаки для вина. Единственный священный предмет «знамя» — длинное посеребренное древко с острым серебряным кинжалом. К древку прикреплен штандарт, который на ветру широко развевался. Все выглядело просто и естественно, как молитва. Хати и окрестность вокруг были погружены в нетревожный покой.

Люди уже собрались. Верующие ждали хевисбери — старейшину ущелья. Наконец он появился: высокий, жилистый, могучий. Все сняли шапки. У большинства — головы бритые, затылки — не плоски. Каждый пришел со своим жертвенным бараном и с кувшинами пива. Хевисбери приступил к службе; затеплил свечу, взял кувшин. Перед ним встал один из общинников. Хевисбери прочел молитву: «Слава Всевышнему, слава дню нынешнему, слава Солнцу и его спутникам. Дажь, Всевышний, — тут он назвал имя стоящего перед ним верующего, — счастье и благословения». Он поднял голову и, сощутив глаза, продолжил: «Услышь мольбу верующего! Подари ему сына, умножь потомство и урожай его! Подсоби при переходе через реку! Будь милосерд к его больным! Если согрешил — прости ему грехи! Осени его своей благодатью! Не уменьшай силы, дабы мог он побороть врагов своих! Благослови труды его, береги его скот! Будь милосерд к нему всегда!». Хевисбери отпил пива и передал кувшин своим помощникам-бери, стоявшим рядом. Отпив, они вылили остатки в стоящий рядом чан. Теперь хевисбери мог приступить к обряду жертвоприношения. Острым ножом перерезал он горло барану и выпустил кровь в деревянное корыто. Макнув палец в кровь, он нарисовал крест на лбу хевсура, принесшего жертвенного барана. Бери окропили кровью стены святилища. Вслед за этим хевисбери отрезал у жертвы голову и передал ее верующему, бери проводили его, напутствовав: «Прими благословение Господа нашего». Перед хевисбери предстал второй общинник, за ним третий... Хевисбери стоял весь в крови, с острого ножа, который он держал в руке, капала кровь. Хевисбери был пьян от крови.



314935340  
31220110033

Глаза горели. Казалось, в этот миг он мог принести в жертву собственное дитя.

Люди разделились на две группы, в зависимости от того, из какого села они прибыли; женщины — отдельно, мужчины отдельно. Накрыли столы. Принесли: мясо, хинкали, пиво, водку. Жертвоприношение постепенно перешло в пиршество. Пили из турьего рога; пели героические песни; читали стихи-шаири; вызвали соперников на поединок — скрестить мечи. Сражающиеся были одеты как воины — в броне, нарукавниках, на груди щит и на поясе кинжал. На голове чапхути-шлем. Щиты и довольно изношенная кольчуга свидетельствовали о том, что их владельцу не раз приходилось бывать в грозных битвах; воины сражались как викинги. У многих на лицах — следы ран. Пиршество перерастало в оргию. Молодежь отпускала в адрес женщин весьма двусмысленные шуточки. Женщины не терялись, бойко отвечали. Все более и более раскрепощались пирующие, сила в них была ключом, как-то надо было «выпустить» эту силу — и вот мужчины покинули свои места, вскочили на крепконогих коней. И начались скачки; неудержимость всадников передалась коням.

\* \* \*

Я сидел среди пирующих. Но внутренне не приобщился к празднику: остался только зрителем. Атмосфера мне незнакомая. А любой хевсур жил на этом празднике полной жизнью. Он переставал чувствовать себя единицей, отделенной от общины, и возвращался в свое изначальное лоно. Индивидуальность исчезла, бурлила, кипела кровь фамильная; подхваченные могучим потоком родовой крови, пирующие были уже физически частицами невидимого единого целого. Во множестве отдельных лиц — представлялось мне — должен был непременно отразиться живой образ племени. Я задумался над словом «хати». Что это, если не внутренний образ нерукотворного целого? Святилище зовется хати (образ), где не найдешь ни одного образа в понимании жителя долины. Стало быть, хати — не визуальное отображение, не картина, а внутреннее видение, внутренний образ. Мою догадку подтверждал еще один обряд: для варки ритуального пива воду принесли со всех сел — знак приобщения к единому целому. Животное на




заклание также приносили всем двором, невзирая на численность двора — еще более яркое отображение принадлежности к целому. Хевсур сам себя называет «хатискма», что дословно означает «служитель святилища». В этом слове — назначение хевсура, ибо он — исполнитель воли общины.

\* \* \*

В тени сидели женщины, тоже пировали, но более сдержанно. Кое-кто взобрался на каменную глыбу, почитаемую как святыня. Видимо, женщины эти были бесплодны и ждали помощи от чудодейственного камня. Они шептались; изредка бросали взгляды на мужчин — беглые, но весьма дерзкие. Их улыбки были не однозначны. Невольно вспомнилась таинственная улыбка Джоконды. Одна из женщин особенно привлекала мое внимание: широкобедрая и длинноногая, лицо оливковое, в огромных глазах — синева неба. Она загадочно улыбалась и молчала. Поймав мой взгляд, сумрачно сомкнула брови. Смущенно взирал я на нее. Великое счастье видеть женщину, которая, как тебе кажется, дарована тебе самой судьбой, а еще более великое счастье — почувствовать, что и ты не безразличен ей. Вероятно, мой взгляд несколько смутил ее: она встала и лениво направилась к другой группе женщин. Ее стройное тело, дышащее ожиданием, еще более разожгло во мне страсть. Она сняла косынку: густые, коротко остриженные волосы горели в лучах солнца точно темно-красные кремни на песке. Жгучими глазами смотрел я на нее. Кроме нее, как мне казалось, никто не заметил моего страстного взгляда. Сладостно было это чувство и таинственно. Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся: это был Мгелика. Он широко улыбался, обнажив белые крепкие зубы, и спросил весело: «Понравилась?». Я опустил голову. «Моя двоюродная сестра», — добавил он.

\* \* \*

Прошло несколько дней. Я постепенно приобщался к хевсурскому быту. Однажды мы с Мгеликой отправились охотиться на туров. С заходом солнца туры спускаются с недоступных скал на альпийские пастбища и до утра едят сочную траву. К носкам обуви мы



прикрепили самцера — шипы, дабы в трудный момент удержаться на краю оврага. Узкие тропинки в расщелинах вились на головокружительной высоте. Мы поднимались все выше и выше, напряженные до предела. Там, где кончалась дорога, мы кинжалом вырубали в скале «ступени», пока не находили новой тропинки. Стоило неожиданно сорваться опорному камню — и судьба наша повисла бы на волоске. Мгелике легко было идти по этим тропам, мне гораздо труднее. Он подбадривал меня с легкой, теплой усмешкой. На одном из выступов мы увидели темно-синюю в белую полосу птицу, которая считается другом туров. Я впервые видел эту необычную птицу, горную индейку-шуртхи. Туров не было. Наконец появился молодой тур; он шел в нашу сторону. Мы тотчас свернули с пути и спрятались за глыбой. Но тур заметил нас и понесся в нашу сторону с такой стремительностью, что останься мы на тропинке, непременно очутились бы в пропасти. Но мы все хорошо рассчитали: два выстрела — и тур упал, сраженный пулей Мгелики. Шкура убитого тура доставалась Мгелике — его выстрел оказался удачнее моего, мясо мы должны были поделить поровну, а рога — пожертвовать святилищу. Все это — по охотничьим обычаям хевсуров.

Мы возвращались. Мгелика был весел: шутил, смеялся, рассказывал всякие истории. А мне все не давал покоя, все будоражил образ прекрасной хевсурки. Мгелика каким-то звериным что ли чутьем догадался о причине моей грусти. «Я знаю, о ком думаешь», — бросил он, улыбнувшись. «О ком?» — спросил я удивленный. «О Мзекале». Так звали ту, о которой я грезил. «Ну что, я прав?» — Мгелика продолжал улыбаться. Я промолчал. «Ночью познакомишься с ней», — шепнул он. «Как? Ночью?» — удивился я. На сей раз промолчал Мгелика. Лишь снова улыбнулся.

В пути нас застал ураган. Мы спрятались в пещере. Хлынул ливень: широким веером обдавал он деревья. Перед нами — открылась живописная картина. Капли дождя были тяжелые, словно свинец. Звериный шабаш элементов шумел волшебным оркестром.казалось, вокруг звучала космическая симфония. Белыми полосами хлестали молнии потемневшую от проливного дождя окрестность. Вдруг неподалеку от нас в сосну



ударил молния, и дерево тотчас охватило страшное пламя. Всем телом ощутил я трепетный огонь. И у Мгелики горели глаза. Мы наблюдали жизнь. Слепую, безгрешную, первородную. Сосна была объята пламенем. И сердца наши ликовали, охваченные огнем. Мы с Мгеликой обнялись.

\* \* \*

Я думал, Мгелика пошутил, хотя подсознательно верил ему. Вернее: страстно желал, чтоб слова его оказались правдой. Думал я: то что сказал мне Мгелика, не столь уж удивительно, ведь среди примитивных народов существует такой обычай — гостю на одну ночь предлагается красивая девушка. Возможно, и в Хевсурети так поступают, думал я радостно.

Я выбрал место для ночлега на втором этаже, подальше от моих спутников. Ложе — доски, покрытые овечьей и турьей шкурой поверх соломы. Я не взял с собой свое походное одеяло. Но чего не выдержишь в ожидании сладостного и пьянящего.

Ждал я Мзекалу и вспоминал рассказ Геродота о том, что все женщины Вавилонии должны были принести свою невинность на алтарь божественной Афродиты. На пороге храма любой незнакомец за горстку золота мог выбирать себе женщину, которая ему понравится. Каждая отдавала золото на алтарь богини в дар за счастье познания. Уводя женщину, которую выбрал, мужчина произносил слова: «Призываю богиню Мелиту». Как бы мала ни была предложенная сумма, женщина не могла отказать, она шла с тем, кто ее выбирал. Обычай, о котором поведал Геродот, конечно же, не имел ничего общего с прелюбодеянием, и царские дочери непременно должны были пройти через этот ритуал. И не следует забывать, что золото отдавалось на алтарь богини, стало быть, женщины не торговали своим телом. Может так проявлялась необузданность страстей, чрезмерная чувственность? Тогда непонятно, почему не женщины выбирали мужчин? Нет, в этом обряде скрыто что-то другое, думал я удивленный. Вспомнил, как объяснял эту тайну один из писателей нашего времени, знаток древних мистерий. Он говорит: каждый мужчина хотя бы однажды в своей жизни должен

испытать близость с женщиной и каждая женщина хотя бы однажды в своей жизни должна познать мужчину — не ради того, чтоб родить. Так ради чего? Ради того, чтоб хотя бы на миг вырваться из круговорота бытия — рождения и смерти — и таким образом приобрести к вечности или бессмертию. Объяснение — разумное, но не очень понятное для меня. Я ждал Мзекалу и потому хотел другого объяснения. Как знать, думал я, может женщины Вавилонии воспринимали незнакомца как божественное существо и связь с ним считали сакральным актом? Жажда познания «незнакомого», «неведомого» — в природе человека. Да, уже существуя, Бог продолжает создавать себя, он «тот же» и в то же время «другой». И этот другой, быть может, олицетворяется в незнакомце-уцхо — вот где кроется первотайна. Любой сущий на земле в самовозвращении стремится к другому или же «незнакомому». Возможно, — продолжал я думать, — здесь кроется тайна экзогамии. В Хевсурети, например, запрещаются браки в одной общине, более того, даже в одной деревне. Вспомнилось мне производное от грузинского «уцхо» слово «сауцхово», обозначающее желаемое, прекрасное, то, о чем мечтаешь. Как же после этого не понимать стремление познать незнакомца-уцхо, если последнее обозначает прекрасное?

Ждал я Мзекалу и представлял себе — страшно и одновременно какое блаженство произнести это слово — божеством. Но Мзекала не шла. Пошутил Мгелика? Внезапно послышался шорох. Открылась дверь. Неужели она, желанная?! Медленно, твердым шагом подошла она ко мне. Остановилась. Поздоровалась спокойным, низким голосом. В ответ я что-то прошептал. Прошло несколько минут. Мзекала села на постель. Молчала, вероятно, ждала чего-то. Я растерялся. Наконец, она легла рядом не раздеваясь. Я придвинулся, дал понять, мол, разденься. Она отодвинулась. Я решил, что стесняется. Собрался с духом и попытался сам снять с нее одежду. Она стремительно вскочила. Я ничего не понимал.

«Хочешь быть моим сцорпери?» — сказала она наконец. Я не знал, что ответить, не знал, что означает это слово. Но машинально произнес: «Хочу». Она тотчас легла рядом. Я задыхался. Она же обняла меня,



пылкая, горячая, и стала целовать в лоб. Я обеими руками обнял ее голову и жадно припал к ее зовущим губам. Она подчинилась мне. Когда же я привлек к себе ее гибкое тело, она сжалась и сурово произнесла: «Этого не будет! Мы ведь ссорпери!». Я обезумел: как это понимать?!

Я обнимал ее и целовал, она льнула ко мне. Я вись сегодня силой волшебства одна из подруг Клеопатры и стань она возлюбленной мужчины нашего времени, их эротическое чувство носило бы совершенно иной оттенок, внутреннее горение было бы другим. Мзекала напоминала мне такую возлюбленную. В Хевсурети не существует понятия времени. Там и сегодня живут так, как тысячелетие назад. Мзекала превращалась в моих объятиях в Еву, не подвластную времени. Она пылко льнула к моей груди и тотчас отстранялась, но не отнимала горячих губ от моих. Тело ее представлялось мне неприступной скалой, в которой пробивался ручеек — это ее губы, из которых я пил пьянящий поцелуй. Она тоже пьянела от моих поцелуев. И оба мы сдерживали себя в этой жаркой истоме, не переступали священной границы.

\* \* \*

Я не понимал ничего. В поведении Мзекалы я не мог отыскать ничего общего с поведением вавилонянок, стало быть, моя разгадка тайны неверна. Мысли мои потекли по другому руслу. Я сознавал: то, что испытал я в прошлую ночь — пережиток древнейшего ритуала, претерпевшего здесь, в Хевсурети, изменение. Кто знает, может некогда хевсуры прошли через рыцарский обычай любви, когда любовь — только «пламень любви», а не плотская страсть, и под влиянием такой любви плотская встреча мужчины и женщины стала только символом. И еще одна мысль не давала мне покоя: может быть, Мгелика хотел испытать меня, смогу ли я, его побратим, выстоять, рыцарски не перейти границу дозволенного. Такой была на сегодня моя гипотеза. Но она, как говорится, прихрамывала: если это так, то почему с такой страстностью льнула ко мне Мзекала? Тайна осталась тайной. Решил порасспросить Мгелику, но ему было не до меня: в стычке смертельно ранили его друга.



В детстве мне часто приходилось резать кур. Лево́й рукой я придерживал её крылья и большим пальцем так оттягивал голову, чтоб видна была шея. Ножом, который я держал в правой руке, проводил по горлу — и все. Мне было неприятно, но рука действовала уверенно. Тело курицы еще несколько минут трепыхалось в сторонке, а я вытирал кровь с ножа. Но однажды мне довелось испытать удивительное чувство. В ту минуту, когда тело еще боролось со смертью, мне на глаза попала отрезанная голова: клюв двигался, веки моргали, словно подчеркивая слепоту. Ужас объял меня. Страшно было сознавать — это я понял впоследствии — что жизнь, заключенная во всем теле, неделимая в живом организме, боролась со смертью отдельно: с одной стороны в голове, с другой — в теле. Страшно было и другое: тело с отрубленной головой уже не дергалось, голова застыла, но жизнь, казалось, все же незримо присутствовала тут. Здесь было нечто такое, что в старину прорицатели называли «священным страхом». Помню: я выбросил нож и убежал, как безумный. Руки дрожали. С тех пор я испытываю страх перед пролитой кровью, страх темный, нечеловеческий. В крови видится мне сама жизнь: ее суть, ее тайна. Историю эту я вспоминаю только потому, чтоб хотя бы приблизительно объяснить, что значит кровь для хевсура. Когда смотришь на хевсуров, лицо и тело которых отмечены шрамами, всегда вооруженных и готовых к бою, кажется, что они только и жаждут крови. Но это не так. Никто так не боится пролить кровь, как хевсур: ни один народ, ни одно племя. Убийцу в Хевсурети клеймят словом «трус». Герой — не тот ратник, кто серьезно ранит соперника; рана должна выглядеть царапиной на коже даже в самой яростной схватке — вот знак подлинного мужества, вот что характеризует истого хевсура.

Всю деревню облетела весть: Гиви Кистаури смертельно ранил Гогутура Гигаури. Надо было видеть хевсуров: точно сама смерть оставила отметины на их лицах. Особенно неистовствовал Мгелика, ведь Гоготур



был его самым близким другом. Трудно было узнать в нем прежнего Мгелику, степенного и жизнерадостного. Потеряв голову, бегал он взад-вперед, не находя себе места. То обстоятельство, что правда в этой печальной истории не была на стороне Гоготура, еще более угнетало его. Сильный и ловкий Гоготур, оказывается, позидедался над Гиви — ловко вырвав у него кинжал, он легко царапнул его и с насмешкой вернул ему оружие. Понятно, Гиви узрел в этом свой позор. Он так разъярился, что выхватил кинжал и вонзил его в живот соперника.

«Гиви трус, — ворчал Мгелика, — но и Гоготур поступил худо и недостойно». Хевсур всегда на стороне того, на чьей стороне правда. Никакие чувства, ни родственные, ни духовные, ни родовые не заставят его поступиться честью, руководствоваться своими личными интересами.

Мы с Мгеликой пошли в дом Гоготура. Лекарь Ликокели перевязывал ему рану. Гоготур страдал от боли, но держался мужественно — для хевсура даже стон, произвольно вырвавшийся из страдающей груди, большой стыд.

\* \* \*

Ликокели — старец девяноста семи лет, но еще полный сил. Он умело, искусно перевязывал раненого. Я заворожено наблюдал, как он работает. Моему изумлению не было предела, когда я узнал, что ему знакома каждая извилина мозга. Откуда? В оторванном от мира уголке, где нет ни газет, ни железной дороги, я встречаю удивительного врачевателя, которому подвластны все тайны лекарского искусства. Каким образом? — спрашивал я себя. Моя догадка, что хевсуры — остатки какого-то древнейшего народа, подтверждалась воочию. Другого объяснения быть не могло.

Я разговорился со старцем. Он оказывается врачевал раны мазью, замешанной на яичном белке и меде. Когда засыхает кровь, говорил он, надо посыпать рану навозными червями, убитыми солью. Тогда рана, оказывается, так очищается, что уже ничего не ускользнет от глаза лекаря. Особенно ценил он порошок, изготовленный из травы, названия которой не знал. Он рассказал мне: по преданию, как-то некий хевсур уви-

дел, как змея поймала жабу; змея ужалила жабу, но той удалось вырваться и спрятаться в траве; хевсур успел заметить, что жаба сорвала какую-то траву и приложила ее к ранке; хевсур, наблюдавший это, был чрезвычайно удивлен; спустя несколько дней хевсур пришел на то же самое место; каково же было его изумление, когда под кустом он увидел ту самую жабу, совершенно излечившуюся. Так узнал хевсур о лекарственной силе безымянной травы. Именно эту траву и пользовал Ликокели.

Многое еще рассказал мне Ликокели. В его повествовании моменты врачевания облекались в мифический сказ, и сам старик, казалось, пришел из мифа. Особой силой наделял он убитую змею, красную и белую. С изумлением слушал я его. Узнал также, что он может сделать трепанацию черепа без чьей бы то ни было помощи. Он многих излечил: кроме хевсур, — пшавов и кистинов. Одному пшаву, оказывается, кровник рассек кинжалом голову. Ликокели надо было раздвинуть кости, чтоб отделить мозг. Операция, предельно сложная, завершилась удачно: пшав был спасен. Я не мог оторвать взор от старца-волшебника, который предстал передо мной, как тень из преисторического прошлого. Он обладал знанием, которое не стерли века. Знанием, равносильным искусству.

Ликокели не удалось спасти Гоготура. В сумерки началась борьба Гоготура со смертью. «Свечу!» — крикнул он неожиданно, приподнявшись. Страх сковал всех, кто находился при этом. «Горе нам!» — послышалось в ответ. Принесли свечу, дали ему ее в левую руку, зажегли. «Меч!» — вскричал Гоготур страшным голосом. «Горе, горе нам!» — воскликнула мать. Принесли меч. Вложили ему в правую руку. «Соль!» — крикнул он вновь, задыхаясь. «Горе нам, горе нам!» — отозвались глухо родственники Гоготура. Принесли соль. Насыпали в горло умирающему. «Убейте его!» — закричал он нечеловеческим голосом. «Убьем!» — твердо послышалось отовсюду.

Свеча сгорела. Меч упал. Стояли бездвижно в печали братья Гоготура. Ни один из них не проронил слезу. Гоготур испустил дух. Мать вскочила, схватила керосин и спички и помчалась к дому убийцы. Нелегко было остановить ее. Бабушка умершего, столетняя без-



зубая старуха, шептала про себя что-то похожее на проклятие. Братья вооружились и, грозные, отправились мстить. Вся деревня переполошилась. Убийца, вероятно, уже успел скрыться. На сей раз я и в самом деле узрел кровь: страшную, таинственную, вопиющую об отмщении. Братья Гоготура олицетворяли эту месть. Тень смерти лежала на всей деревне. Я воочию убедился в том, какую беду несет с собой пролитая кровь.

\* \* \*

Мы возвращались домой — я и мой побратим Мгелика. Рожденный для света, для радости, он в эти минуты был воплощением скорби, источаемой тьмой. Шел он молча. Было ясно, что все его мысли были о Гоготуре.

«Осторожным надо быть с кровью», — произнес он наконец. Эти простые слова проникли мне в душу, как зерна. В них была правда, как в камне, упавшем с неба. «Это несчастье, убить кого-нибудь, — пробормотал он и добавил: — и для убийцы, и для всех». Я молчал. Мой побратим высказал то, что так хотел сказать я. Он поведал мне о многом, о том, например, как откупаются в Хевсурети за нанесенные раны. Когда, скажем, в поединке один из соперников повредил другому глаз, выкуп — тридцать коров; ногу — двадцать четыре; большой палец — пять, мизинец — одну. Если, ранив в лицо, соперник не повредил костей, выкуп измеряется так: вдоль раны выкладывают зерна пшеницы, виновный обязан дать столько коров, сколько останется зерен после вычета первого и последнего зерна. Корова для хевсура — мерило ценности. Дивлюсь только, почему здесь она не считается священным животным, как в Индии.

Рассказывал Мгелика просто, не преувеличивая значения того, о чем повествовал. Я думал, изумляясь: если так дорого откупается тот, кто ранил, сколько же должен заплатить убийца! Мгелика раскрыл мне неписанный кодекс убийства. Я внимал каждому его слову. Кровная месть в Хевсурети виделась мне законоположением, предотвращающим убийство.

\* \* \*

Покойника вынесли во двор, чтоб дыхание смерти не оставалось в стенах дома. Постригли и обмыли.

36.0925940  
51.1710933

Одели во все новое, положили оружие. Четыре дня покоился он так. Хевисбери читал молитвы. Приходили соседи выразить соболезнование. Ни на одной карте не самого великого художника не видел я того, что видел на этих горестных лицах: безмерную внутреннюю боль, и в то же время, удивительное внешнее спокойствие. Они знали, где пребывали; здесь властвовала смерть. Родственники убитого сидели в доме, облаченные во вретище; мужчины небритые, в рубахах с растегнутым воротом, в шапке, надвинутой на самые глаза — чтоб скрыть слезы. Соболезнующие преклоняли перед ними колени и тихим голосом выражали сочувствие.

Женщины во дворе причитали: «Встань, герой! Ждет тебя войско! Как же ему идти в поход без предводителя!» «Вай — горе нам, горе!» — тихо вторили пришедшие. «Почему молчишь, герой? — продолжали плакальщицы. — Все ждут твоих слов! Конь твой беспокойно ржет, чего же ты медлишь?». Дрожь пронизывала всех. «Поднимись, герой, не то заржавеет твой щит, затупится твой меч! Хотим услышать голос твой, приводящий в трепет врага! Встань и испепели его!» «Горе, он не слышит нас!» — воскликнула одна из плакальщиц. «Горе! Горе!» — вырвалось у окружающих из глубины сердца. Плач завершился ритуальным поминанием души умершего.

Сняли с умершего оружие, и процессия направилась к кладбищу. Здесь предали его матери-земле. Положили на могилу плоский камень. И устроили в его память скачки.

Мзекала тоже была на похоронах. Заметив меня, чуть заметно содрогнулась и опустила голову. Потом искоса поглядывала в мою сторону. Глаза наши встречались, и я всем своим существом чувствовал — она любит меня! Мгелика стоял далеко, а другие не замечали нашу молчаливую беседу. Сладостна была эта наша встреча. Каждый из нас понимал, что переполняло душу другого. Взгляды наши скрещивались — и в них мы читали наши заветные желания. Удивительно было это наше влечение друг к другу в минуты осознания холодной бездны смерти. В памяти моей всплыли известные из древнейших времен сцены разгула, имевшие место во время погребения. Быть может, жизнь тем



самым пытается утвердить, убедить в своей мощи даже перед лицом смерти, думал я. Вероятно, и скачки были своеобразным проявлением такого ритуала. И то, как билось мое сердце, подтверждало эту догадку. О, несомненная сила крови! Я уже твердо знал: этой ночью возлюбленная моя придет ко мне.

\* \* \*

Пришла она, сладострастная и невинная. Ласки наши превратились в муку. «Почему между нами не должно быть то, что бывает между женщиной и женщиной?» — спросил я, когда она лежала рядом. «Я ведь твоя ссорпери, а ты — мой», — ответила она. «Это же пытка!» — воскликнул я. «Пытка? — удивилась она. — Но ведь она сладостна?». Да, она была сладостна, но так мучительна! Какой мужчина вынесет такой огонь?

Ласки наши были трепетны и пламенны. Она призналась, что сама просила Мгелику устроить нашу встречу. «Стало быть, я понравился тебе?» — сказал я с улыбкой. «Да, очень!» — ответила она откровенно. Мзекала многое рассказала мне о ссорпроба.

«Случается, ссорпери не выдерживают клятвы, — проговорила она. — Это стыдно, срам это». «А если они поженятся?» «Нельзя, запрещено это». «Стало быть, я не могу жениться на тебе?» «Нет...» «Это же пытка!..» «Но ведь она сладостна!..»

В ту ночь Мзекала ушла рано.

\* \* \*

На следующий день мы с Мгеликой бродили за деревней. Я заметил здание из рыхлого и мягкого камня, с единственным оконцем, служащим, судя по всему, и дверью. «Что это?» — спросил я. «Самревло — специально построенное помещение. Сюда приходят женщины рожать или же когда у них месячные». Я слушал его с предельным вниманием: быть может, в его словах я смогу найти объяснение тому, что такое ссорпроба. Вот что рассказал мне Мгелика: когда приходит время женщине рожать, ее выводят из дома и помещают в особо устроенную для нее хижину-кохи. Там она рождает, сама, без помощи повивальной бабки; сама пе-

регрызает пуповину; трое суток находится она в хижине, потом переходит в самревло; хижину сжигают; в самревло мать остается с ребенком в течение месяца, купает его холодной водой даже тогда, когда на дворе мороз; хевисбери режет барана — не козу, ибо, по мнению хевсур, она связана с чертовщиной — наполняет кровью деревянную миску и окропляет ею двери, стены дома; только после этого женщина может вернуться в дом.

Издалека донесся шум: видимо, кто-то затеял драку. Мгелика поспешил туда, я же, оставшись один, продолжил путь и вскоре очутился у ручейка. В тени сидел старик, родственник Мгелики. Я поздоровался. Ответив на приветствие, он достал трубку, набил ее табаком; потом положил на камень трут, высек искру и закурил. Худые морщинистые руки свидетельствовали о доброте и мягкости, мягкий и неспешный был у него и голос, и еще — печальный, грустный. Мы разговорились. Слушал он меня внимательно. Каждое его замечание было отмечено меткостью и наблюдательностью. Беседовали мы довольно долго; потом вместе пошли к ближайшему холму. И тут мы увидели двух стариков — женщину и мужчину, сидевших рядышком, прижавшись друг к другу. Подойдя ближе, услышали удивительно теплые и ласковые слова, которые говорил старик. Завидев нас, они отодвинулись, старик замолк. Но едва мы отошли, они продолжили разговор. «Сдорпери они, вишь как любятся», — пробормотал с улыбкой мой спутник. «Что?!» — воскликнул я удивленный. Старики вспоминают молодость, объяснил мне мой попутчик; у старика своя семья, у старухи — своя, и добавил, заметив мое удивление: «Одно дело любить сорпери, другое — жену». Мой попутчик оказался скуп на слова, и я терпеливо ждал, когда он продолжит свой рассказ. Наконец он сказал: «Любовь — божественна, познаешь плоть — убьешь ее. — И заключил таинственно: — Только гореть...» И больше не сказал ничего.

Я попрощался с мудрым старцем и пошел к дому. Я вновь созерцал горы вокруг и наслаждался космическим покоем. Материальное в эти мгновения воплотилось в духовное. Я не чувствовал своего тела. Слова старика «только гореть...» не выходили у меня из головы. Вспомнились мне слова мудрой Диотимы из «Пи-

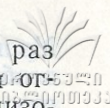


ра» Платона о том, что любовь рождается в прекрасном как душой, так и телом. Эти слова всегда казались мне удивительными. Платоническую любовь на протяжении веков понимали как любовь неземную. Так почему же Диотима говорит «...как душой, так и телом?». Стало быть, по мысли Платона, и тело играет свою роль в любви! Он и не мог мыслить иначе: неземная эротика тоща и бесплодна. Исподволь приближался я к тайне. В совершенном мире, — Платон, отождествляющий «идеи» с единичными видимыми вещами, надо полагать, и в них подразумевает совершенство, — любовь и в самом деле должна рождаться в прекрасном; как душой, так и телом. В бесконечности же она не материализуется «полностью»: тело здесь — лишь посредник между полем или родом — не сможет «родить» оно вечное или «прекрасное». В любви страх перед телом, должно быть, сокрыт именно в этом. Ведь чувствуют возлюбленные безмерную грусть даже в самом сладчайшем облегчении!

Я шел, погруженный в раздумье. «Только гореть», — разве это не свидетельство любви в платоновском понимании? Вероятно, племя хевсур в древнейшие времена было своеобразным орденом, который утверждал именно такое понимание любви. Теперь мне стала понятна неприязнь хевсур к роженицам: она для них — воплощение не «рождения прекрасного», а рождения несовершенного, в котором изначально подразумевается простой смертный. «Только гореть...» — то есть пылать страстью к красоте духовной, видеть прекрасное и пребывать с ним на грани чувственности, переступишь границу — тщетным окажется любовное горение. То, что в словах Диотимы лишь иносказание, намек, в Хевсурети облечено в живую плоть.

На миг мысли мои прервались — я вдруг ощутил все во мне кричит о Мзекале, сладострастной и пьянящей.

Почти у каждого ручейка стояла мельница, в которой мог уместиться разве что только один человек. Мельницы были с одним-единственным окном, жерновы такие маленькие, что их легко мог поднять даже ребенок. В величественном, могучем окружении гор мельницы казались игрушечными. Внимание хевсура обраще



но больше к душе, нежели к материальному. Еще раз окинул я взором эти игрушечные мельницы. Среди огромных скал каждая из них — словно печаль, снизошедшая на землю из бесконечности. Хевсур — это огонь и печаль.

\* \* \*

Уже в деревне я повстречал своих спутников, которые возвращались из соседнего села. И Мгелика был с ними. Они на языке глухонемых что-то объясняли Мгелике, тот, чувствовалось, все понимал. В проулке показались женщины со связками пахучей соломы на спине. Среди них была Мзекала. Сладостная волна разлилась в моем теле. Женщины устроились под деревом передохнуть. Мзекала стояла в тени, неукротимая, ярая. Губы плотно сжаты, ноздри раздуты, как у хищного зверя, веки чуть прикрыты и из-под длинных ресниц лучится взгляд.

Искоса следила она за мной, порой улыбка скользила по ее лицу, и мне казалось, что знакомый скалистый ландшафт раскрывался предо мною в широкой улыбке.

И тут один из моих спутников сообщил, что завтра нам надо собираться в обратный путь. Страх объял меня, острый и горячий. Словно что-то оборвалось во мне. Мгелика удивился. «Что с тобой?» — спросил он недоуменно. «Завтра мы должны покинуть Хевсурети», — ответил я с грустью. Мгелика оглянулся на Мзекалу, на сей раз — без улыбки. Она стояла бездвижно, напряженная, видно, услышала, что я сказал, стояла притихшая перед бездонной сумеречной неизвестностью.

Мы возвратились домой. Опустилась ночь. Я ждал Мзекалу. Думал: придет она непременно, придет в последний раз; с той самой минуты, как я узнал, что нам надо возвращаться, я уже ни о чем не мог думать. Я беспокойно ворочался в постели, поворачивался то на один бок, то на другой. Сна, как говорится, ни в одном глазу. Мзекала не появлялась. За все эти дни я ни разу не подумал о том, что надо будет возвращаться в Тбилиси. Теперь же необходимость этого стояла передо мной, как судьба, жестокая и неумолимая. Любил я



Мзекалу? Безмерно. Только любовь эта была какой-то особенной, необычной. Вспомнилась мне арабская поговорка: если в огонь не подкинуть дров, он сожрет себя. Моя страсть, огражденная огненным рубежом, напоминала такой пламень. Корнями чувствовал я Мзекалу, чувствовал и горел пламенной страстью, и в то же время она исчезала в безграничности: была близко и далеко в то же время. Любовь моя сжигала себя. Как мне поддержать любовный огонь? Для этого надо было стать хевсуром. В моих ли это было силах? Я метался, словно сражался с кем-то в поединке. Этот кто-то был я сам.

Сон не коснулся моих глаз.

И Мзекала не пришла.

\* \* \*

Минуты эти обрывками вечности останутся во мне. Мгелика был сама любезность. Поминутно спрашивал: приеду ли я еще в Хевсурети, вспомню ли своего названного брата, буду ли думать о Мзекале. Я убеждал его, объятый грустью: да, я приеду в Хевсурети, я не забуду названного брата, и Мзекала останется в моей душе навсегда. Мгелика потерял покой, в движения его вкралась печаль, но и печаль эта была светла.

Мы собрались в дорогу. Мзекала не появлялась. Я был в смятении. Может, она прокляла меня? Может стать, подумала, что быть сцорпери мне не по силам и потому я покидаю Хевсурети! Тяжело стало на душе. Не было сил. Не было воли. Нечто темное и непреклонное повалило меня и волокло куда-то. Мгелика провожал нас, молчаливый. Вдруг за чилиговой изгородью послышался шорох. Я прислушался и посмотрел в сторону: спрятавшись за густым кустом, за нами следила Мзекала. Я замедлил шаг, чтоб мои спутники не заметили наше неожиданное свидание. Я увидел огромные блестящие черные глаза любимой, в них было все любовь, расставанье, печаль — все одновременно. Жаждающий взор мой впитывал печаль этих огромных глаз. На какое-то мгновение я погрузился в вечность. Мне казалось: мы оба, я и она, жили и умирали в наших взглядах. Я шел, как лунатик, оглядываясь, точно меня удерживал на привязи взгляд Мзекалы. Еще мгню

вание — и взгляд ее мог обратить меня в камень. Вдруг послышался оклик Мгелики, он звал меня. Я прибавил шагу. Чилиговая изгородь осталась позади. Вечность дала трещину — и оборвалась. Я ощущал только дрожь в коленях. «Сердце оборвалось...» — только сейчас осознал я значение этого выражения.

Деревня осталась позади. Мы сели на коней. Дорога была прежняя — узкая горная тропка. Мгелика ехал рядом со мной. Я чувствовал каждый шаг, который разлучал меня с Хевсурети; окидывал взглядом деревни, разбросанные по склонам гор, как гнезда орлов или коршунов. Я покидал упоительную прохладу лесов, расставался со стойкими, непреклонными людьми, которые ласкают детей украдкой; один из них мой названный брат. Я ловил на себе его взгляд, полный грусти. Печаль усугублялась. Мрачные пропасти, куда изредка достигал солнечный луч, сдавливали грудь. Влекло белопенное течение реки в извилистом русле, в ущелье — хотя я и не понимал, где нахожусь. Изредка попадались огромные валуны: одни затянутые зеленым мхом, другие заросшие бурым лишайником, третьи — крапчатые. Доносился шум потока, ниспадающего с ледниковых гор. Шум, казалось, шел из безграничности. Я был погружен в печаль.

Широкая балка осталась позади. На пастбищах виднелись стада коров и отары овец. Вдали сверкала на солнце гигантская вершина горы. Там царствовали одиночество и стойкость. Я собирался с силами, чтоб перенести расставанье. Мзекалу я уже не видел, с названным братом предстояла разлука. Миг, вырванный из вечности. Мы сошли с коней. Мгелика снял с себя меч с изображением волка и протянул мне. Мы обнялись. Я чувствовал: Мгелика весь горит, мечется. И еще я чувствовал: что-то надежное обрывалось, исчезало для меня навсегда. Пошли дальше. Я шел вместе со своими спутниками и все-таки был одинок: названного брата не было рядом. «Гиварги!» — донесся вдруг громкий голос. Я остановился. Оглянулся. На другом берегу реки стоял Мгелика. Я жаждал отозваться — но не было сил. Я лишь молча смотрел на него, исполненный любви и печали. «Гиваргии!» — слышалось спустя некоторое время. Я замер. Мгелика стоял



на прежнем месте. И в этот раз не было у меня сил отозваться. Пошел дальше опечаленный. Впереди был поворот. «Гиваргии!» — слышался в третий раз отчаянный крик. Оглянулся — но мы уже были за поворотом. Мгелики не видать. Может, вернуться, чтоб еще раз увидеть его? Но это приковало бы меня к земле, я знал. И я последовал за своими спутниками. Вновь слышался зов Мгелики, один раз, второй, страшный, душераздирающий. И потом — словно последнее дыхание соединилось с вечностью — опустилась тяжелая, мрачная тишина.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ.

## ХРОНИКА

### ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке Государственной программы грузинского языка, обсудившее информацию директора Института языкознания имени А. Чикобава Академии наук Грузинской ССР, члена-корреспондента АН Грузии В. Джорбенадзе о ходе всенародного обсуждения проекта. Поступило в целом около 400 откликов и предложений. Было проведено специальное расширенное заседание ученого совета Института языкознания.

Решено разделить программу на две части. В первой рассмотрены общие проблемы научного изучения функционирования языка и обучения ему. Вторая часть посвящена плану мероприятий Государственной программы, рассчитанной на 1989—2000 гг.

В обсуждении приняли участие: ректор Тбилисского государственного университета, академик Академии наук Гру-

зинской ССР Н. Амаглобели, академик Академии наук Грузинской ССР К. Ломтатидзе, директор Института грузинской литературы имени Ш. Руставели, член - корреспондент Академии наук Грузинской ССР С. Цаишвили, председатель Правления Грузинского фонда культуры профессор Т. Буачидзе, директор Исследовательского центра государства и права Академии наук Грузинской ССР профессор Т. Шавгулидзе, декан филологического факультета Тбилисского государственного университета профессор К. Дanelia, член совета при Государственном комитете по народному образованию СССР доцент Тбилисского государственного университета К. Габашвили, редактор журнал «Балавери», член президиум Всегрузинского общества Руставели Т. Квачантирадзе, секретарь ЦК Компартии Грузии Н. Попхадзе.

В марте рабочая группа примет окончательный вариант программы.







Сердце боится  
Глубоких сугробов,  
Ветра и стужи.

Знаю таких,  
Что просторное небо  
Любят покрытым  
Мелом и пеплом.  
Эти гордятся  
Общей женою,  
Сердцем суровым,  
Душой ледяною.

Не утолить мне  
Голод по дому,  
Голод по месяцу,  
Солнцу родному!

Перевод Олега БОБРОВА



Лали ДЖАПАРАШВИЛИ

## Сон

Приснились мне желания мои:  
Я жить хотела в маленьком гнезде  
У изголовья ангела, и там  
Чтоб было и уютно, и светло,  
Чтобы звучал земли и неба зов:  
«Приди к нам — мы тоскуем по тебе,  
Нам не хватает твоего тепла...»

Но вы узнали о моей мечте,  
Но вы смеялись долго надо мной:  
«Ишь, захотела — в маленьком гнезде  
У изголовья ангела, и там  
Чтоб было и уютно и светло...  
Ха-ха — и зов и неба, и земли!...»



И вы меня решили проучить —  
Вы ножницами листья отсекали,  
Обрезали росточки и сучки,  
Строгали, терли, чистили меня,  
Покрыли лаком и, оставив так,  
Потом ушли...

И долго я глядела на себя,  
И этот лак, и блеклые тона,  
И эту гладкость — горько приняла,  
И век жила спокойно и темно  
Меж небом и забытою землей,  
Прислушиваясь к звукам и словам...

Но вот однажды, в ровной маете,  
Случилась ночь — я не могла уснуть,  
Пригрезился мне благодатный дождь,  
Который напоил меня. И я  
Как будто бы опять дала росток,  
И почка вызрела на том ростке,  
А в почке — мысль, а в мысли зазвучал —  
Все тот же и земли, и неба зов:  
«Нам не хватает твоего тепла!..»

И я навзрыд заплакала тогда,  
Смертельно тосковала до утра,  
Потом уснула. И весь день спала.  
И разбудил меня заката луч.  
Открыла я глаза и обмерла:  
На тонкой ножке из груди моей  
Рос, бился, трепетал тугой росток...

Перевод Михаила ШОРА



# КРИВОЙ МИХА

## РАССКАЗ

Когда в Грузии было введено новое административно-территориальное деление и к существовавшим двум автономным республикам и автономной области прибавились еще две — Тбилисская и Кутаисская — области, в столице республики начала выходить новая полнометражная газета «Гамарджвеба»<sup>1</sup>.

Со дня окончания войны минуло три или четыре года. Слова, более желаемого и популярного, чем «победа», тогда, пожалуй, не было. Поэтому все — город, село, улицу или площадь, автомобиль или судно, — мы, одержавшие победу в кровопролитной войне, называли «Победой». И название газеты ни у кого не вызвало удивления.

С появлением этой газеты для нас — молодых писателей, часть которых еще донашивала солдатские гимнастерки и шинели, а другая, желторотые юнцы следующего поколения занимались на разных курсах университета, сельскохозяйственного института или Академии художеств, — открылось новое поле деятельности.

По заданию редакции пришлось мне как-то выехать в Кахети, точнее — в Кизики, Сигнахский район. В то время Хирсинский виноградарский совхоз, раскинувшийся в центре Алазанской долины и на пологих склонах Цив-Гомборской горы, возглавлял известный во всей республике человек — Тедо Хатиашвили. Редакция намеревалась опубликовать в ближайшем номере газеты очерк о нем.

Года два-три тому назад Тедо занимал пост пред-

<sup>1</sup> Гамарджвеба (груз.) — победа.



седателя Сигнахского райисполкома. В этой весьма ответственной должности он немало лет проработал самоотверженно, со свойственной кахетинцу мудростью, терпеливостью и усердием. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами неожиданно был смещен с занимаемой должности и возвращен туда, откуда он, как образцовый хозяйственный работник, когда-то был выдвинут на пост председателя райисполкома, — в Хирсинский виноградарский совхоз.

Естественно возникает вопрос: что произошло? Зачем понадобилось удалять уже пожилого, поседевшего в трудах праведных, всеми уважаемого, заслуженного человека? В чем он провинился?

О виновности его воздерживаюсь судить. Единственной же причиной или основанием для освобождения Хатиашвили от должности председателя райисполкома послужило вот что: в одной из зарубежных стран — то ли в Англии, то ли в Западной Германии, то ли в самих Соединенных Штатах Америки — обнаружился его родной брат, который согласно поступившему весной 1943 года извещению с Брянского фронта считался без вести пропавшим. Шло время, и все, в том числе и Тедо, сочли его погибшим. Вдова облачилась в траур, подросшие сыновья — здоровенные парни, старший из которых в тот год был призван в армию — отрастили бороды, в хирсинской церкви святого Стефана отслужили молебен за упокой души покойного, и жизнь семьи потекла по привычному руслу.

Тедо был лицом должностным и не мог скрыть от властей историю чудесного появления считавшегося погибшим брата. Не колеблясь ни минуты, он письменно сообщил об этом куда следовало, добавив при этом, что, поскольку брат в числе перемещенных лиц оказался в капиталистической стране, он, Тедо Хатиашвили, считает нецелесообразным свое дальнейшее пребывание на должности председателя. Он просил освободить его от работы и подыскать ему подходящее место, дабы и дальше он мог служить своей стране. В соответствующих руководящих органах изложенные в заявлении Тедо Хатиашвили соображения сочли обоснованными, поблагодарили его за искренность, немедленно освободили от должности председателя райисполкома и вернули директором в Хирсинский виноградарский совхоз. Все

знавшие Тедо переживали за него, считали отстранение от должности усердного, беспредельно преданного делу работника несправедливостью. С сожалением покачивали головой даже те, кто недолюбливали Тедо и втайне даже желали ему зла. Помимо всего прочего, оказалось далеко не легким делом подыскать достойного преемника Тедо: война оголила село, унесла из жизни лучших из лучших.

Драматическую историю Хатиашвили мне накануне отъезда в Кахети рассказал сам редактор — рассказал неофициально, как бы между прочим, как говорится, «не для печати» (о подобных вещах в те годы в газетах не писалось), а лишь для того, чтобы я знал о сути дела и в своем очерке между строк намекнул на него.

Я впервые ехал в Кахети — в прекраснейший и богатейший уголок Грузии, в Кизики, над которым Богородица вытрясла свой щедрый подол и одарила вступающих в единоборство с землей его сыновей довольством и изобилием. Дальше Вазиани нога моя до сих пор не ступала, и теперь, когда автобус миновал Лочинский овраг, я с радостно забившимся сердцем стал разглядывать раскинувшиеся по обе стороны дороги необозримые поля.

В редакции районной газеты — кажется, она тоже называлась «Гамарджвеба» — меня уже ждали. К тому же редактор, выходец из этих мест, проявив свойственную ему сердечность, позвонил местным товарищам: — так, мол, и так, едет к вам такой-то, в Кахети он, к стыду своему, ни разу не бывал, так что вы, пожалуйста, присмотрите за ним, не оставьте без внимания.

В Хирсу мы прибыли на другой день с некоторым опозданием, без предварительного предупреждения из Сигнахи. В дирекции совхоза, расположившейся в двухэтажном каменном, побеленном известью здании, мы не застали ни Тедо Хатиашвили, ни кого-либо другого. На лестничной площадке мяукал непонятно откуда забредший сюда кот. В конце коридора, по обеим сторонам которого тянулись кабинеты должностных лиц совхоза, раздавался стук пишущей машинки. Восприняв эти звуки как признак жизни, я и сопровождавший меня литсотрудник районной газеты, низенький, плосколицый парень Ваню Кежерашвили, уверенно направились туда. Ваню опередил меня, открыл дверь комнаты и скрылся



в ней. Вскоре он вернулся с неприятной вестью: директор совхоза Тедо Хатиашвили вызван на срочное совещание в министерство и вернется или нет — неизвестно.

Вот неудача! Не загляни я в редакцию, не просиди весь вечер за дружеским столом, а прибуди прямо в совхоз, я наверняка встретился бы с Тедо, и если даже у него не нашлось бы времени для беседы со мной, я, по крайней мере, узнал бы точно — когда он вернется.

И они там хороши, в министерстве! Нашли время для срочного совещания! В такую-то пору!

В Кахети, благословенном крае вина и винограда, был в разгаре сбор винограда. И погода выдалась великолепная! На раскинувшуюся у подножия синеющего, с заснеженными склонами Кавкасион Алазанскую долину снизошла божья благодать. Урожай уродился небывалый — не знали куда девать, в какие залить бочки и кувшины такое количество вина.

— Ну что, как быть, Вано? Так ни с чем и вернуться в Сигнахи? — спросил я своего попутчика.

— Это почему же ни с чем? — удивился он.

— А потому! Тедо Хатиашвили нет, и мы толком не узнали даже — где он и когда вернется. Разве это дело?

— Ну что вы за народ — имеретинцы! Почему не узнали? Сказали ведь нам — Тедо в Тбилиси, на совещании. Чего же еще? Кончится совещание — вернется он, не останется же в Тбилиси? Миллион дел в совхозе! Приедем с утра пораньше и встретимся с ним!

— А сейчас что ты собираешься делать?

— Ты — гость, ты и решай. Мне велено сопроводить тебя, а вечером доставить тебя обратно. «Его прислал к нам такой человек... Мы должны оказать ему всяческое уважение...» — вот так мне и было сказано.

— А вчерашнее не в счет? Сейчас нет и одиннадцати. Впереди целый день! Пройдемся по виноградникам, поможем сборщикам. Каждая рабочая рука сейчас, знаешь, как ценится!

— Золотые слова! Я не против. Но есть у меня хорошая мысль: ты про Кривого Миха слышал?

— Про кого?

— Ты что, оглох? Кривой Миха! Впрочем, откуда тебе знать, ведь ты впервые в Кизики!

— Не то что в Кизики, а вообще в Кахети! — по-правил я.

— Я и говорю, откуда тебе знать Кривого Миха, он ведь не Рокфеллер какой-нибудь!

— А чем он занимается? Крестьянин?

— Кто? Миха? Все мы крестьяне, вроде меня. Он лет двадцать, как сменил профессию. В рабочие записался!

— Это как же? Разве в Алазанской долине есть крупное промышленное предприятие?

— Он сам, собственными руками построил на берегу Алазани кирпичный заводик. Глиномешалку, печь, сушилку, склад — все сам, сам! И выделяет такой кирпич — не разобьешь топором! Все дома, что вокруг стоят, и в Цнори, и в дальних селах — все они построены из его кирпичей. Прославился он. Откуда только люди не идут к нему — из Лагодехи, Цители-Цкаро, Закачала, Алибада, Кахи!..

— Подсобных рабочих у него, наверно, достаточно?

— Говорю же тебе, все он делает сам! Иной раз, если уж люди очень спешат, они помогают ему, и то лишь колоть пни или мешать глину, к делу он никого близко не подпускает. А теперь, кажись, он и в дровах не нуждается — печь у него на мазуте да угле работает.

— Слушай-ка, познакомь меня с Миха, а попозже встретимся с Хатиашвили... Далеко отсюда?

— Доедем до Цнори, потом — по Чиатурской дороге. На нашем разболтанном «Виллисе» езды с полчаса, не больше. Завод Миха — на этом берегу Алазани, переезжать мост не придется.

— Не мешало бы предупредить здешних, где нас искать. Вдруг появится Хатиашвили, звякнут нам по телефону, мы и вернемся быстренько.

— А ты думаешь, у Миха стоит телефон? Дудки! Нет, телефон ему, конечно, хотели поставить, сам секретарь райкома распорядился — на что, мол, это похоже, почему до сих пор на заводе нет телефона! Да наш Миха уперся — никаких телефонов! Подальше, говорит, от начальства — спокойнее живется! Мое дело, говорит, выжигать кирпич, и в этом деле нет, говорит, равных мне. И знать, говорит, мне больше не о чем, с работой справляюсь отлично и без указаний начальства. Желает кто кирпич — милости прошу, пусть заби-



рает, я никому не отказываю, а по телефону, говорит, кирпич не перевозится.

— Вижу я, твой Миха за словом в карман не лезет. Да и начальство, небось, балует его.

— Кирпич-то нужен всем — и богу, и дьяволу. И какой кирпич! Когда закладывается фундамент какой-либо крупной стройки, тогда, конечно, один Миха с делом не справляется, кирпич завозят из Метехи. Вообще-то метехский кирпич тоже ничего себе, но он легко сырость впитывает. Не дай бог, намокнет — пиши пропало, рассыпается в песок, особенно, ежели мороз! К тому же расходы на перевозку велики. Против нашего кирпича он обходится вдвое дороже.

— Миха знает об этом?

— Знает, конечно! Попробуй скрыть от него такое!

— Почему же он не повышает цену на свой кирпич?

— Была бы его воля, может, и повысил бы. Но завод-то не его, он подведомствен комбинату местной промышленности... А Миха, не стану брать греха на душу, настоящий кахетинец — щедрый, хлебосольный, требуется — он все для человека сделает, никогда денег на доброе дело не пожалеет. Он и кирпич часто отпускает в кредит. Иной раз терпит на этом убыток, и потому у него недоразумения с директором комбината. Как, говорит, мне отказать человеку, ежели у него детишки мерзнут? Не успеет он перекрыть дом до наступления зимы, как же душе моей быть спокойной? Кирпич этот, говорит, моя работа, так пусть уж пострадаю я, другим-то от этого хуже не станет?

— Кто прозвал его Кривой Миха?

— А у кахетинцев обычай такой: в общении друг с другом мы обходимся прозвищами. Не то что имена, мы и фамилии иногда выдумываем по прозвищу. Миха изрядно косит, к тому же бог сделал его хромым. Так что прозвище в самый раз, будешь хоть год ломать голову — лучшего не придумаешь!

— Судя по твоему рассказу, его завод должен давать комбинату солидную прибыль?

— Да еще какую! Не будь кирпичного завода, клянусь, комбинат давно бы прикрыли и столько людей осталось бы на бобах! Там у них только в бухгалтерии да плановом отделе работают четырнадцать мужиков и баб. Скрипят перьями, бегают туда-сюда. А завод дает еже-

годно полтора миллиона рублей чистой прибыли. Шу-  
тишь?

— Что же получается, столько дармоедов сидят на  
шее одного человека?

— Точно так... Ну вот, мы и вышли к Алазани!  
Гляди — вон там, вдоль того берега, видны вековые  
дубы и чинары. Это и есть Чиаурский лес. Помнишь, у  
Сандро Шаншиашвили есть такое стихотворение —  
«Свалился дуб в Чиаурском лесу»?

— Помню, конечно!

— Вот и он, Чиаурский лес... Мост через Алазани,  
правда, устарел. Собираемся построить новый, да ни-  
как не решимся. Ждем, пока мост не провалится да кто-  
то не утонет... Вон, дым валит из трубы! Значит, горит  
печь, и Кривой Миха где-то здесь поблизости. Слышь,  
Серый, — обратился Ваню Кежерашвили к водителю на-  
шего многострадального «Виллиса», к худенькому блед-  
нолицему парнишке, — сбегай, посмотри! — Затем обе-  
рнулся ко мне: — Приехали! Это и есть владение Кри-  
вого Миха!

Во всю длину крытого шифером открытого навеса  
лежали рядами сырые кирпичи. Были они разложены  
так, чтобы не повредить друг друга и чтоб воздух мог  
бы свободно циркулировать меж рядов. У входа в навес  
была отгорожена досками крохотная комнатка, а в  
противоположном конце возвышалась тщательно отшту-  
катуренная печь. Дверь в комнатку была открыта.  
Внутри стояли покрытый сукном стол и отшлифованные  
до блеска деревянные скамьи.

— Это, наверно, кабинет директора, — поделился  
я своим соображением с Ваню, который озабоченно ог-  
лядывался вокруг, разыскивая хозяина.

— Точно, кабинет Миха! Куда же он подевался?

— Прикроем-ка дверь, как бы кто не унес чего. Ма-  
ло ли кто здесь околачивается!

— А чего уносить-то? Стол и скамьи? Нет, у Кри-  
вого Миха никто ничего не украдет, а украдет, так он  
заставит беднягу сломя голову приволочь все обратно!

На краю огражденного проволочной изгородью за-  
росшего высокой травой, необранного виноградника мы  
увидели взлохмаченного, небритого, выше среднего ро-  
ста мужчину, облаченного в грубую брезентовую спе-  
цовку с прожженными кое-где полами. С разбухшей от



воды палкой в руке он, ругаясь на чем свет стоит, гнал стадо свиней. Я понял, что перед нами именно тот, кого мы разыскиваем, и облегченно вздохнул — хоть здесь нам повезло.

— Миха, чьи свиньи? — крикнул издали Ваню.

— А я знаю? Мать их хозяина так и разэтак!.. Второй день их стерегу!

— Делать тебе нечего, что ли?

— Дыра в изгороди вон какая, видишь? Прoberутся, проклятые, в виноградник, уничтожат его! И виноград никто не думает собирать! Четыре раза передавал через ребят — объявись, хозяин, забирай своих свиней, иначе заколю их к чертям собачьим! Какое там! Не идет никто!

— Слышь, Серый, сгони-ка свиней!

— Что я, пастухом к нему нанимался?

— Да ну вас! Не нужна ваша помощь, сам с ними справлюсь! Мне бы метров сто колючей проволоки, заделал бы дыру тройным рядом — единственное спасение от этих сволочей! Гляди-ка, точно звери! Можно подумать, с прошлого года не жрали ничего! У, что б вам!.. А ты кто? Не того ли Кежерашвили сын, что в Сигнахи работает? Издали не признал тебя, разбогатеешь! А это что за чужак с тобой?

— Друг мой, из Тбилиси. Он впервые в Кахети. Хочет познакомиться с тобой.

Кривой Миха бросил палку, вытер о спецовку грязные руки и заслонил ладонью глаза.

— Впервые, говоришь, в Кахети? И решили показать ему именно меня? Какая я вам знатная фигура? Или издеваешься надо мной? Знаю я! Наверняка он следователь! Вот прицепился ко мне наш прокурор! Пятеро проверяющих в день! Смотрят, вынюхивают, боятся, как бы я не разбогател, не подорвал основы государства!

— Слушай, Миха, не надоели тебе подобные разговоры? С нами, ладно, болтай, о чем тебе вздумается, но с другими, поверь мне, следует тебе быть сдержаннее!

— Твоих нравучений мне не хватало, парень! Говори же, кто он?

— Сказал ведь: мой друг. Приехал из Тбилиси. Ре-

шил я ознакомить его с твоим производством. Не воз-  
ражаешь?

— Да какое там производство!.. А ты чуешь, какой колючий ветер дует с Дагестана, особенно после захода солнца? — Кривой Миха снова заслонил рукой глаза, оперся всей тяжестью тела на свою короткую ногу и уставился на белые вершины синееющего Кавказиони. — Видишь? Опять снег! Ночами даже подмораживает. Стоит чуть покрепчать морозу — пропал сырой кирпич, насмарку мой двухнедельный труд! Будет тогда тебе «производство»! Приедет Свинопалкин и сдерет с меня три шкуры!

«Про кого это он?» — глазами спросил я Ваню Кежерашвили. Миха перехватил мой взгляд.

— Это директор нашего комбината. Ты что, впервые слышишь это имя? А еще сигналаец! — Миха ответил нам обоим, но обращался он только к Ваню.

— А что он против тебя имеет?

— План, вот что! Нажимают на него сверху, он жмет на меня. Ты человек неглупый, ответь мне: на кого же нажать мне? На самого себя? Людей-то у меня здесь нет?!

— Что ты сердисься на нас, Миха, мы ведь кирпича у тебя не просим!

— Слушай, парень, это когда же я, пугало ты огородное, пожалел кирпича или чего другого для кого-нибудь, хоть для врага своего заклятого?! А?! Скрыг поищи у себя в роду! Сидите, словно насадки, на копейке! Кирпич! Что — кирпич? Да я вам душу собственную отдам! Чего же вам больше?

— Вот это я понимаю! — невозмутимо ответил Ваню. — Это другой разговор!

Диковинное прозвище, данное Миха директору комбината, и его шутливо-серьезная отповедь в адрес Ваню Кежерашвили развеселили меня. Я чуть было не расхохотался, но вовремя сдержался, боясь, как бы наш хозяин не воспринял мой смех как-то иначе. Я протянул ему руку и, хотя мое имя ни о чем ему не говорило, назвал себя.

Небритый, растрепанный, невымытый Кривой Миха испытующе взгляделся в меня косыми глазами и, не выпуская моей руки из своей заскорузлой, с потрескавшейся кожей, горячей ладони, спросил:



— Скажи честно, ты и впрямь друг Ваню, или тебя прислал прокурор?

— С ума меня сведет этот человек! — воскликнул нарочито возмущенно Ваню. — Говорят ему, убеждают, а он твердит одно и то же! Слушай, при чем тут прокурор? Какое до нас прокурору дело?!

— Ты молчи! — прикрикнул на него Миха, — я желаю узнать правду от этого человека!

Я понял, что пора вмешаться мне.

— Ваню говорит правду, дядя Миха, — сказал я, стараясь придать своим словам как можно больше убедительности. — Я писатель и журналист. С прокуратурой и следствием никогда дел не имел. Меня послала сюда редакция газеты «Гамарджвеба». Слыхали про такую газету? Она, наверно, поступает сюда. Так вот, был я в Хирсинском совхозе, хотел встретиться с Тедо Хатиашвили, но не застал его. Чтоб не терять драгоценного времени, Ваню посоветовал поехать сюда и познакомиться с интересным человеком. Вот я приехал к вам.

— Пусть он насмешается над собой! Я ему покажу «интересного человека»!.. Вы были бы хорошими людьми, если бы привезли с собой самого Тедю! Я ведь ребят послал на Алазани, наловят они сомов. И не пил мукузанское вино. Оно, если хочешь знать, мертвого на ноги поставит!.. А что касается Тедю.. Второго такого человека не найти во всей Кахети! Да что Кахети! И далеко за ее пределами не сыщешь такого! Прав я, Ваню?


— Золотые слова!

— Он раньше был председателем исполкома, — продолжал Миха.

— Знаю. О нем мне рассказывали в Тбилиси, а затем здесь, в Сигнахи. Знаю и то, почему его сместили.

— Значит, тебе известно все... Эх, что там говорить... Кто должен сидеть во главе стола, да кто сидит... Ну, что делать будем? Осмотрим завод, или как? — Кривой Миха одним глазом покосился на стоявшего в стороне Ваню, потом перевел взгляд на меня и наконец-то отпустил мою руку.

Обход и даже детальный осмотр кирпичного завода не представлял никакой трудности. Здесь все было ясно и понятно. За рядами сырых кирпичей под навесом ока-



залась покрытая глиной, опрысканная водой круглая площадка вроде гумна. Посередине гумна было укреплено колесо с ободом, напоминавшее обыкновенное аробное колесо. Оно приводилось в движение мотором, установленным на бетонном, в масляных пятнах, основании и соединявшимся с колесом зубчатой, вроде тракторной гусеницы, трансмиссией. Эту механическую работу прежде, оказывается, выполняла старая слепая лошадь, которую Кривой Миха нашел где-то в зарослях на берегу Алазани, надел на нее хомут и заставил крутить глиномешалку. Тогда, в начале тридцатых годов, здесь навеса не было. Миха мешал глину под открытым небом, там же заливал ее в формы и там же раскладывал вынутые из форм сырые кирпичи. Черепичная кровля была устроена лишь над печью. Массивная, добротнo выложенная кирпичом, с толстыми стенами — она вмещала около пятисот кирпичей. Разумеется, печь соорудил сам Миха. Она действовала отлично, и наконец Миха добился того, что, поддерживая в печи необходимую температуру, через каждые три-четыре дня выдавал по пятьсот высококачественных кирпичей.

Ускорению дела или, говоря производственным языком, повышению эффективности труда препятствовало лишь одно обстоятельство: на охлаждение печи и находившихся в ней раскаленных кирпичей уходило времени столько же, что и на их обжиг, — не менее трех суток. Подступить к печи раньше этого срока было немислимо. Миха долго бился, напрягал все свои изобретательские способности, расспрашивал знакомых и незнакомых, но путей ускорения охлаждения печи не находил. Оставалось одно: вооружиться терпением, приспособиться к температуре и так или иначе сократить срок выдачи готовой продукции хотя бы на один день. Ожидавшие обещанного кирпича покупатели не отходили от печи, глядели на обливавшегося потом Кривого Миха, сочувственно качали головами:

— Да-а. На здоровье ему наши деньги! Такой кирпич! Да за него следовало бы брать с нас вдвое больше! Лезть в это пекло? Нет, брат, я бы не решился на такое, хоть озолоти меня! Мне еще не надоело жить!

Закаленный в труде Кривой Миха, воодушевленный успехом, не считался с трудностями. Облив себя с головы до ног водой из кувшина, он снова и снова вка-



тывал тележку с сырыми кирпичами в пылавшую жаром печь, удивляя глазевших на него крестьян. Но вот однажды навестили Миха люди из Сигнахи и повели с ним странный разговор: ты что, мол, здесь мудрствуешь, Кривой Миха, чего ты мучаешь себя и других? Кто тебе разрешил это? Присвоил государственную землю, поставил уродину-избушку и занимаешься кустарным промыслом! Неужто ты, седой верзила, не ведаешь, что подобное самоуправство карается законом? Ну-ка, сматывай быстренько удочки, немедленно снеси сию игрушечную хибарку, выкинь к черту сырые кирпичики, отнеси тележку в артель — там она больше пригодится, а сам надевай шапку да ступай домой, займись делом. Увидим еще раз тебя здесь, уж не знаем, что мы с тобой сделаем!

Кривой Миха был в недоумении: «Чего им от меня нужно, мать их так и разэтак?! Я гну спину, жарюсь в огне, делаю людям добро и себе зарабатываю на кусок хлеба — им-то какая забота? Чем я им не угодил?» Но потом, подумав и взвесив все, понял, что «правительственные люди», коли того захотят, добьются своего, ибо закон на их стороне.

Во времена описанных событий должностные лица бежали от взятки, как от чумы. Взять взятку и обойти установленный порядок? Покривить душой? — такое никому не могло прийти на ум. Но вот хорошее угощение, уставленный яствами стол — вроде того, какой простодушный Арсен накрыл для вероломного Кучатнели<sup>1</sup> — «благодарность» в таком виде, чего греха таить, принималась, и даже весьма охотно. И Кривой Миха вместо того, чтобы дать отпор приехавшим, настоять на своем, доказать свою правоту, — вместо этого стал слезно упрашивать их задержаться на полчаса («Убей меня бог, если на минуту больше!»), выпряг свою слепую клячу и направился куда-то за Алазани.

Представители района перемигнулись. Затем они отдали должное преподнесенному от чистого сердца угощению (тем самым обнадежив Кривого Миха), с наслаждением отведали алазанских сомиков, в полном со-

---

<sup>1</sup> Арсен Одзелашвили — народный герой (XIX век), поборник справедливости, защитник и покровитель крестьян. Кучатнели — убийца Арсена.

ответствии с дедовским обычаем выпили на славу мукузанское белое, так что даже зашумело в головах, и, наконец, вполголоса — не дай бог, услышит кто, донесет, куда следует! — затагнули «Мравалжамиер». На прощание они горячо облобызали Миха, назвали его «червонным золотом», но при этом повторили уже сказанное: кустарный заводик следует снести, дабы не рассориться с властями навсегда, что на Миха ежедневно поступают сотни анонимок, дескать, обогащается Кривой Миха, зарвался вконец сукин сын, спасите нас от этого кровопийцы, и что они, люди государственные, не вправе потакать обогащению частника и эксплуатации человека человеком, что у них тоже есть семьи, и жертвовать ими ради кирпичного завода Кривого Миха они не намерены...

Миха перестал топить печь, копать глину, но сносить свое хозяйство не спешил. Выжидал. Авось, думал он, забудут про меня, вряд ли у занятого столькими делами правительства нет больше забот, как о моем заводике, и вряд ли оно станет присылать в этакую глушь — Чиаурский лес — людей проверять, снес или нет я свою хибарку, которую они сами же называли игрушечной.

Между тем народ не давал Миха покоя: мол, что ты с нами творишь, Кривой Миха? Бросаешь нас на полпути? Уж лучше ты вообще не затевал бы этого дела! Не надеялись бы на тебя, сами как-нибудь справились бы со своей нуждой! А как быть теперь?

Миха не хуже других понимал, что своим непродуманным начинанием он действительно подвел людей, действительно бросил их на полпути. С другой стороны, он не мог не считаться со словами должностных лиц. Так и мучался Миха, не зная, на что решиться.

Наконец, когда ему стало совсем уж невтерпеж от бесконечных приставаний и заклинаний людей — дескать, чего ты боишься, мы ведь здесь, с тобой, а ну, пусть осмелятся сказать тебе бранное слово, — Миха не выдержал. Людская мольба взяла верх над опасениями перед властью. И Кривой Миха махнул рукой: «А-а, мать их так и разэтак! Будь что будет! Испытаю судьбу! Никого я не граблю, бога не гневлю, тружусь на благо людям! Чего же еще?!» Закатал Миха рукава, заложил в печь сырые кирпичи и развел огонь.



Истомившиеся в ожидании заветного кирпича крестьяне — и с одной, и с другой стороны Алазани дружно пришли на помощь Миха. Они повывали корнями сухие дубовые пни, накололи их, топили печь и поддерживали в ней огонь — Миха оставалось лишь месить глину и формовать кирпичи.

До выемки очередной партии выжженного кирпича оставался один день. Не успели! Из Сигнахи приехали три всадника — двое в полевой милицейской форме и один в сером френче гражданского покроя и в «азиацких» сапогах. Соскочив с коней, не поздоровавшись с людьми, они потребовали Миха.

Куда девались смелость и отвага тех, кто еще вчера столь решительно уговаривал Миха — дескать, чего ты боишься, мы ведь здесь, с тобой?! В мгновение ока все куда-то исчезли.

«Был ты официально предупрежден, что должен снести свое частное производство?» — спросил смущенного Миха человек в френче. «Был», — честно признался Миха. Впрочем, об этом ведь хорошо было известно самим приезжим. «В таком случае распишись вот здесь». Кривой Миха, к стыду своему, не очень-то ладил с грамотой, поэтому в указанном месте он вместо подписи поставил крест. «А ты знаешь, что здесь сказано?» «Не знаю». «Так какого черта ты расписываешься, болван ты безмозглый?!» «Сказали расписаться, я и расписался. Сказали бы — не расписывайся, я бы не стал расписываться». «Ах ты пройдоха этакий, эксплуататор трудового народа!» — человек в френче не смог удержаться от улыбки, но тотчас же убрал с лица неуместную улыбку и грозно нахмурился: «Хочешь прикинуться пасхальным ягненком? Хочешь поиздеваться над нами? Врешь! Не на таких напал! Вот оформим сейчас протокол, запишем, что ты используешь наемный труд, держишь под ярмом трудовое крестьянство, бесовестно обогащаешься за чужой счет и, несмотря на неоднократные предупреждения, не расстаешься с кулацкими обычаями!»

Кривого Миха еще раз заставили поставить жирный крест — теперь уже под протоколом, составленным человеком в френче. И тогда Миха сдал. Огромный дитина, который, казалось, протянет руку — коснется самого неба, превратился в жалкую тряпку. Ничего по-

добного он не испытывал даже в раскаленной печи. Горячий пот лил с него ручьями, он весь вымок, словно только что облился водой, чтоб охладить горячие плечи.

Ту ночь Миха провел в дежурке сигнахской милиции не сомкнув глаз. Ему не давала покоя одна-единственная мысль: кто, кто его заклятый враг, поразивший его ударом кинжала в спину, собирающийся сделать его посмешищем в глазах всего света?! Утром вывели его на допрос. Следователь, только что вышедший из хашной, вонял чесноком и водкой. От густого, жирного хаши и стопки водки, без которых он обычно не выходил утром из дома, Миха не отказался бы и сейчас, но — увы! — не было здесь ни того, ни другого!

Следователь Кислятина, последыш арбошикского кузнеца, известного по прозвищу Шакал, стал допрашивать задержанного, годившегося ему в отцы, с пренебрежением и беспечностью сытого человека. Попутно он своим корявым почерком что-то записывал в двухлинейную школьную тетрадь. Начал он с азов: фамилия, имя, отчество, год и место рождения. Кривой Миха недоумевал — к чему эти вопросы? Анкета его, что ли, изменилась за ночь, или влез он в камеру вместо кого-то другого? Покончив с записью, следователь поднял голову, взглянул на съжившегося арестанта и сказал:

— А теперь расскажи откровенно все, как было!

«Что, что было?!» — закричал, не выдержав, Миха. Его душили слезы, сердце подпирало к горлу. Еще немного, и этот мощный здоровяк разревелся бы, словно беспомощная старушка.

Следователь положил на стол ручку да ка-а-к заорет на Миха — он думает, где находится? На поминках или в отделении внутренних дел?! Почему он не отвечает на заданный вопрос?! Или захотелось ему отсидеть в карцере?!

Не то что в карцер, воткнули бы Кривого Миха головой в землю, — больше того, что уже было сказано, он ничего не знал. Что же касается использования им на кирпичном заводе наемного труда крестьян — это была явная ложь, злая клевета. От Цнори до Закатала, и хоть до самого Кахи, и стар и млад могли подтвердить, что у Миха не было никогда помощников и подручных, кроме опостылевшей хозяйину и брошенной на про-



извол судьбы старой слепой клячи, которую Миха нашел на берегу Алазани.

Так он и сказал следователю. «Сам, сам я вкалывал, работал сам! Глину добывал, месил ее, кирпичи формовал, дрова таскал, колол, загружал печь, разводил и поддерживал огонь, из раскаленной печи кирпичи вынимал — все сам, своими руками!» «Да об этом я знаю без тебя, — ответил, несколько смягчившись, следователь, заметив в глазах Миха слезы, и при этом громко рыгнул, распространив в комнате запах водки и чеснока, — но дело-то на тебя заведено, пошло оно катиться, как камень и снежный ком с горы. Бумаги твои уже посланы в Тбилиси, лежат на столе у самого главного начальника. Даже если очень захочу, что я, человек маленький, смогу поделаться? Как я удержу катящийся камень? Того, кто теперь вздумает пожалеть, помочь тебе вот хоть настолечко, того самого ждет неприятность вроде твоей, а то и похуже».

Понял Кривой Миха, что он погибает. И, поняв это, пал перед пропахшим чесноком и водкой Кислятиной и обнял его колени. «Спаси меня, не дай пропасть! Знаешь ведь, не виноват я, ничего кроме добра, людям не делал! Спаси меня, и буду я всю жизнь верно служить тебе, молиться о тебе!»

Вот когда взорвался Кислятина! «Это еще что за фокусы?! Что это за провокация?! С чего ты взял, что ты невиновен?! Невиновные люди сюда не попадают! Встань сейчас же! Увидят тебя на коленях, черт-те что могут подумать! Пропади ты пропадом, оставь меня в покое!»

На следующее утро в Тбилиси отправлялся товарный вагон с зарешеченными форточками, в каких обычно перевозят лошадей. Вместе с сорока другими крестьянами, высохшими от горя и отчаяния, прожившими всю жизнь в трудах и заботах о виноградной лозе, вместе с телазским учителем, вместе с агрономом из Гурджаани, получившим образование за рубежом, обвиненным в шпионаже в пользу английских империалистов, — вместе с ними был направлен в Тбилиси и Кривой Миха.

Спустя ровно восемь месяцев и шесть дней, когда потерявшая все надежды семья окончательно выплакала Миха, поступила от него весть, — мол, не имел до сих пор права писать о себе и своем местопребывании.

Нахожусь в Сибири, на берегу Байкала, если слышали о таком, в тайге, работаю, валю лес и нагружаю вагоны. Холода свирепые, но я держусь, что же мне остается делать? На здоровье не жалуюсь, думаю, не околею так, чтобы хоть раз еще не испить любимого мукузани.

...Однажды, уже после окончания войны, в день Преображения, когда, не впадая в тяжкий грех, можно полакомиться созревающим виноградом, на станции Цнопри сошел с поезда Кривой Миха. На удивление людям, среди которых он не увидел даже дальнего знакомого, Миха опустился на колени, припал к земле, перекрестился, чего раньше за ним никогда не водилось, и возблагодарил бога: «Слава тебе, господи! Хоть и подвел ты меня, я благодарю тебя за то, что не отрекся от меня, дал мне увидеть мою Алазанскую долину, мои горы, цветущие сады и виноградники, родной мой народ!»

А мир оказался забывчивым. Забыли люди и самого Кривого Миха, и выстраданный им кирпичный заводик в Чиаурском лесу, на берегу Алазани, и слепую его клячу, издали чувствовавшую приближение хозяина и встречавшую его радостным ржанием. Нашлось лишь несколько сельских баб, увядших и иссохших, которых Миха знал цветущими невестами, — они-то кое-как признали его: «Да никак это наш Кривой Миха из ссылки вернулся! Чтоб он пропал! Гляди-ка, держится-то каким молодцом! Словно просидел все эти годы не в тюрьме, а на курорте Ахтала в пирах да забавах! И помолодел-то как, не насмотришься на него! Если ссылка так меняет людей, погнажи бы туда на пару лет наших мужиков, авось отвыкли бы от вина да пристрастились к бритве».

Конечно, дело обстояло не так, как это казалось завистливым языкастым бабам. Кривой Миха и не помолодел, и не похорошел, и глаза у него по-прежнему косили, и по-прежнему он хромал — тайга, как-никак, не место для отдыха. Он был тем же Кривым Миха, что и в тот недоброй памяти день и час, когда его увезли отсюда, но заметно постаревшим и отяжелевшим, словно висел на нем груз в тридцать пудов.

Другой на его месте, не говоря об ином благе, выучился бы хоть русскому языку. Миха, с помутневшим от пережитого разумом, оказался неспособным даже на это. Особым красноречием он не отличался никогда — каждое слово из него приходилось не выколачивать, а





выдергивать клещами, так что ждуть каких-то перемен в его нраве не приходилось. «Да, но ведь в тайге ты был не один, жили же там люди, на каком языке ты с ними объяснялся?» «А я, брат, в Сибири лес рубил. За час-другой валил любое дерево. Тайга — это тебе не Чиаурский лес, где что ни дуб — то камень. Сибирская сосна — она как молодой сыр. Ну и валил я сосны, потом распиливал, потом цеплял бревна к трактору и вывозил их на автомобильную дорогу. Вот и вся моя работа! О чем мне было болтать и объясняться? Эй, грузин, косою! — это «кривой» по-ихнему, — окликали меня и руками показывали, что надо было делать. Я и делал. Поглядел бы я, как бы вы поступили на моем месте!»

Ничего, кроме горечи и несчастья, кирпичный завод Кривому Миха не принес. Никакой пользы и выгоды. И все же не вытерпело сердце Миха. В один, как говорится, прекрасный день проголосовал он перед следовавшим в сторону Лагодехи грузовиком и поехал. Чтобы шофер не смекнул чего и не начались бы новые неприятности, Миха сошел, не переезжая мост через Алазани — дескать, забыл про одно дело, нужно вернуться обратно. Пересек шоссе и уселся на камне, как бы дожидаясь попутной машины. А шофер, не будь дураком, признал Миха, понял и то, зачем он сюда приехал. Но оказался он человеком не болтливым — не говоря ни слова, тронул грузовик с места и укатил.

На покрытом кустами боярышника и ежевики пустыре от сооруженной когда-то руками Кривого Миха печи не осталось и следа. Даже откос горы, где Миха брал глину и на тележке отвозил ее к своему заводу, сплошь зарос колючкой. Заныло сердце у Кривого Миха, покачал он горестно головой — что с колодцем-то стало? Отчего он пересох? Неужто в чреве благословенной земли исчезла вода? Или злые люди забили камнями, запугали, прогнали ее? А куда девалась несчастная слепая лошадь? Взял ее кто? Кормит? Да нет, кому теперь нужна слепая, если люди и от породистых скакунов отказываются! Каждый сопляк норовит усесться за руль автомобиля! Сдохла, наверно, бедняжка где-нибудь в лесу, досталась шакалам или утонула — долго ли утонуть слепой кляче? Или, и того хуже, загнали ее до смерти молодые бездельники!

А кирпича по-прежнему нет! И если кто надумает строиться, должен таскать его за тридевять земель и платить за него втридорога. Да и кирпич-то какой! Разве это кирпич?! Ладно, а как быть тем, кому этот привозной кирпич не по карману?.. Неужто и вправду были на Миха анонимки? Жаловались люди? А на что жаловались? На то, что здесь же, под носом у них, лежал кирпич, да еще какой?! Вот уже действительно, «за добро не жди добра!» Не достался кирпич нынче — достался бы завтра. А за это время ты мог продать вино, заколоть бычка, отвезти мясо на базар, накопить гроши. Не хватало денег? А разве Кривой Миха отказывал кому? Нет денег — не надо, когда заведутся, тогда и отдашь. Миха ведь проценты не брал!

Он думал, что поле безлюдно. Ан нет! Оглянулся, и у края дороги, там, откуда он свернул сюда, в кусты, увидел новенький зеленый «Виллис» — точно такой, в каком разъезжал начальник колонии там, в Сибири. Кривой Миха вздрогнул, словно застигли его за дурным делом. Передняя дверь «Виллиса» была открыта. Рядом с водителем сидел небритый мужчина средних лет в белом кителе и махал рукой Миха.

Кривой Миха присмотрелся, узнал небритого и затрепетал: это был председатель райисполкома Тедо Хатиашвили.

Хатиашвили поздоровался первым, потом достал заложенный за воротник пестрый платок, вытер потное лицо и лоб.

Кривой Миха остановился, не доходя до машины, стал терпеливо выжидать — «А ну, что еще ему понадобится от меня?»

— Ты кто, друг? Что ты здесь ищешь? Здешний? Не признал я тебя, — произнес Хатиашвили.

— А как же, здешний я, из Анаги. Кривым Миха меня кличут.

— Слышал. Ты — тот самый Кривой Миха, который до войны держал здесь кирпичный завод?

— Тот самый.

— А меня ты знаешь?

— Знаю, конечно. То есть не лично, а по имени. Писали мне из дома — убрали, мол, старого председателя, и теперь Хатиашвили у нас председателем.



941935341  
3030010030

— А ты, конечно же, подумал — его туда же, да поскорее! Так?

— Почему же? С чего ты взял?

— Ну, коли не так, давай знакомиться. Руку!

Кривой Миха протянул свою пудовую лапу:

— Да какая тебе, начальнику, польза от знакомства с червяком, вроде меня!

— Смеешься надо мной, Миха? Ничего, не обижаюсь. От насмешки никто еще не умирал. Скажи-ка лучше, что тебя сюда привело? Что ты здесь ищешь? Или клад у тебя тут зарытый?

— Лучший клад для человека — это место, где он пудами пот свой проливал. Кирпичный завод был моим кладом.

— Почему — был?

— Разве сам не видишь? Не стало его!

— Вижу. И трижды был неправ тот, кто мог так поступить с тобой! Знаешь, какую мы терпим нужду с кирпичом? Измучились вконец! С одной стороны — государственное строительство, с другой — ахи да охи населения!

— Разве мало я кричал, упрашивал — не разрушайте, природы, завод! Постройте сперва новый, больше да лучше старого, а потом уж сносите его! Да кто меня послушал? Кем я был для них? Маленьким человечком! Вот и справились со мной, заставили шлифовать спиной стены камеры!

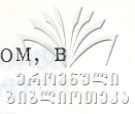
— Знаешь что, Кривой Миха? Поднимись-ка ты завтра ко мне в Сигнахи. Найдешь исполком? Он — в здании, где раньше находился суд. Спросит кто — отвечай: я — такой-то, иду к Хатиашвили.

— «Такой-то!» Как же! Вытянутся передо мной и честь отдадут! Граф Воронцов-Дашков! Ради бога, избавь меня от новых напастей, я и от старых еще в себя не пришел!

— погоди! У меня к тебе есть серьезное дело. Хотел прислать специального человека или позвонить в сельсовет. Но вот повезло — сам встретил тебя!

— Так говори. Зачем же мне в Сигнахи тащиться? Или, думаешь, меня тоже новенький «Виллис» обслуживает?

— Разговор деловой. Решить его я один не могу.



надо обсудить с товарищами... Договорились? Утром, в половине десятого, жду тебя. Придешь?

— Ну... Раз такое дело... Приду.

— Так до завтра!

— Счастливо!

Все мог подумать и предположить Кривой Миха, но только не то, что он услышал на другой день в Сигнахи от Тедо Хатиашвили:

— Кривой Миха, как ты думаешь: если от слов да к делу, да с нашей помощью, сумеешь восстановить свой кирпичный завод?

У Кривого Миха бешено заколотилось сердце, расширились косые глаза — уж не послышалось ли такое?! Это что же получается? Сперва сажают в тюрьму из-за завода, будь он проклят! Называют эксплуататором трудящихся! А теперь сами упрашивают восстановить тот же завод и даже обещают помощь!

— Ну, чего ты молчишь! — Тедо Хатиашвили перегнулся через стол, похлопал Миха по плечу. — Думал, обрадуешься, а ты хмуришься, словно я у тебя быка-кормильца увел!

— Нет, Тедо! Видит бог, очень даже я тебя уважаю, но за это дело не возьмусь! Поручи, что пожелаешь, — расшибусь в лепешку, а выполню! Но с заводом — все! Кончено! И тогда я сглупил, затеяв это дело! Вот так! — выпалил Кривой Миха.

— Да, но у нас мастеров по кирпичному делу, кроме тебя, — никого. Не хочешь сам — посоветуй, кому это дело поручить? Сказал ведь я...

— Кого же я тебе посоветую, Тедо, — прервал Миха председателя, — во всей Алазанской долине был единственный кирпичный завод — тот самый. Так или иначе, он у меня работал. Велели закрыть его. Я не послушался. Посадили меня. Столько, сколько мне досталось, не доставалось, наверно, даже лезгинской бурке при выделке. Я и кровопийца, я и эксплуататор трудящихся, я и разбогатевший за чужой счет... Если я — кровопийца, то кого же тогда рабочим человеком называть?!

— Ладно, Миха, что было — было. Забудь про старые обиды и помоги нам!

— Нет, не могу, Тедо! Очень я тебя уважаю, но встревать в это греховное дело не хочу. Обижайся, не



обижайся — воля твоя! Найдите кого другого, пусть теперь другой попробует обогатиться за чужой счет!

— Опять ты про свое! Не хочешь выслушать меня и дать ответ, достойный такого человека, как ты!

— С каких пор я стал таким человеком? Ведь еще вчера я был кровопийцей. Потому-то меня и впахнули в конский вагон!

— Я, Тедо Хатиашвили, подобную клевету на тебя не возводил!

— Ты не возводил — возвел другой. И тот другой восседал на твоём месте. А если завтра придет третий? Кому же мне верить?

— Поверь мне, Миха!

— Так говорили и они.

— Ну, знаешь! Не хочешь нам помочь — так и скажи! А того ты не ведаешь, что не возобнови мы нынешним летом производство кирпича, нас могут пригласить туда же, куда и тебя когда-то! Или, думаешь, по головке поглядят? Миха, возмись за дело! Поверь мне, и о зарплате не заботься!

— Да не в зарплате дело, Тедо! Клянусь тебе! Понимаю, конечно, без зарплаты я не останусь, да и вниманием не буду обделен, коли сам обещаешь, тут за гвоздка в ином.

— Скажи, и клянусь честью, выполню все твои требования!

— Не дадут мне покоя, Тедо! Тысяча контролеров да проверяющих налетит со всех сторон! Мне, пожилому человеку, гнать кирпич, жариться в печи или содержать дармоедов?!

— Так поставим бухгалтера, учетчика, завскладом! Без твоего согласия — никому ни кирпича!

— Бухгалтер и учетчик мне не нужны, завскладом — тоже. Мне бы куда кирпичи ставить, а уж считать, учитывать, хранить да сторожить, бог даст, сумею. А ну, пусть попробует кто украсть у меня хоть один кирпич!

— Это что же, так никто тебе и не нужен?

— Не мне — делу не нужны они! Будет нужда какая — позову того же мужика. Хочет получить хороший кирпич да в срок? Пусть поработает, сукин сын! Ничего с ним не случится! Здоровье мое уже не то. От тебя-то мне нечего скрывать — сказались сибирские

харчи да тамошний климат. Будь я помоложе, чихал бы на чужую помощь, сам бы справился с делом, один!

— Выходит, согласен ты, Кривой Миха?

— А что же мне делать? Как тебе отказать, человек ты особенный, сердечный!

Итак, началу работ по восстановлению кирпичного завода ничто не препятствовало. Первым долгом было сделано вот что: из работавшей на мазуте сельской электростанции, упраздненной после подключения районов Кахети к энергосистеме Грузэнерго, по личному распоряжению Тедо Хатиашвили выволокли старую динамо-машину, там же на месте переделали ее под электромотор, обновили, покрасили и с помощью подъемного крана установили на месте будущего кирпичного завода Кривого Миха — там, где сейчас находились я и литсотрудник районной газеты Вано Кежерашвили. На сие детище нового времени, первую ласточку техники возлагалась функция отловленной когда-то в алазанских зарослях слепой клячи — вертеть колесо глиномешалки, что обещало увеличение ее производительности в несколько раз.

Главная же трудность заключалась в другом. И она неминуемо заявила бы о себе с началом работ по сооружению подсобных помещений: район испытывал острейшую нужду в строительном лесе! Каждую доску, каждую балку, цена которым в былые времена — грош, теперь приходилось выскидывать с великим трудом. Выход был один: найти подходящего, опытного человека и послать его в Сибирь, где по лимиту Совета Министров Грузии Сигнахскому району полагалось три вагона первосортного лесоматериала.

Поиски такого человека привели председателя райисполкома Тедо Хатиашвили опять-таки к Кривому Ми-ха, который прожил там — правда, не по своей воле — немало лет. То, что он успешно справится с порученным делом, не вызывало сомнения, но согласится ли он на такую поездку?

Услышав, что ему предлагают ехать в Сибирь, Миха обомлел и с трудом удержался на ногах. Не хватит с него Сибири? Мало он поил своей кровью сибирских комаров ростом со среднего воробья?

Тедо Хатиашвили пришлось призвать на помощь все свое красноречие и талант убеждения, чтобы как-то ус-



покоить Миха и членораздельно объяснить ему причину своего визита.

«Да пойми ты, человек, задача твоя — проще простого. Возьмешь ты лимит на лесоматериал. Перед лимитом, сам знаешь, не устоит и скала! Поедет с тобой человек, знающий русский язык лучше родного. Временем тебя не ограничиваем — оставайтесь там, сколько душе угодно. Командировочные и прочие расходы оплачиваем полностью. Остается тебе одно: пройтись по старым дружкам-знакомым и организовать отpravку в Грузию трех вагонов с лесом. Неужели это так трудно? Даром, что ли, прожил ты там десять лет да еще восемь месяцев? Значит так, сибирский лес высылаешь ты, а я похлопочу здесь — кубов тридцать-сорок займу у гурджаанцев или выпрошу у цителцкаройцев, и к твоему приезду построим завод, не будь я Тедо! Приедешь — пожалуйста, готово все, жми, гони кирпич! Чего еще тебе?»

Понял Кривой Миха, что не отвертеться ему, однако вариант председателя он отверг и выставил собственные условия:

— Я вот о чем тебя прошу, Тедо: до моего возвращения пусть никто здесь ни до чего не дотрагивается. Вернусь — не оставаться же мне в Сибири навсегда! — сам своим делом займусь. Я хочу знать, что к чему. Это — первое. Теперь второе: ехать со мной не надо никому. Обойдусь без чьей-либо помощи. Хватит мне своего знания и русского, и французского. К чему лишние расходы? Чачу, ветчину — сообразит жена, вы об этом не беспокойтесь, слава богу, всего у меня достаточно. Сибирь, Тедо, все же Сибирь. Там пока и не пахнет весной. Гость из Грузии, да еще из Кахети, с пустыми руками не мил ни богу, ни человеку, — сам ты это знаешь лучше меня!

...Апрель близился к середине. На северных склонах Цив-Гомбори еще лежал снег. Вдоль Алазанской долины в лучах восходящего солнца ослепительно сверкал синий Кавкасион... Кончился апрель... Пошел май... Во всю припекало, жгло солнце... Парилась нагретая земля... Зашумели ручьи, потекли по пересохшим оврагам бурные пенистые потоки, вышла из берегов вздувшаяся Алазани, залила прибрежные леса... Засверкали молнии, грянул гром, и хлынул дождь — шумный, пролив-

ной, каким бывает он только в Кахети... А от Кривого  
Миха не было вестей — ни дурных, ни хороших.

Не только домочадцы, привыкшие к продолжитель-  
ному отсутствию главы семьи, — забеспокоились сель-  
ские вожаки, руководители района и больше всех за-  
чинщик дела Тедо Хатиашвили. Что же это получается?  
Был человек, и вдруг не стало его! Земля его, что ли,  
поглотила?! Какой держать ответ перед семьей и пе-  
ред законом?! Говорил — обернусь за две-три недели,  
в крайнем случае — за месяц, а его нет по сей день!  
Пока судили да рядили — как быть, кого послать на  
розыски пропавшего Миха, прошло еще три-четыре дня.  
А на пятый день, в полночь, в дежурке райисполкома  
раздался телефонный звонок со станции Цнори — по-  
ступило в ваш адрес четыре вагона отборного леса, со-  
общите Хатиашвили и немедленно забирайте свой лес,  
иначе придется вам выложить штраф за простой вагонов.

Лес — лесом, а вот как признаться Миха, и без то-  
го расстроенному потерей драгоценного времени, в том,  
что, пока он отсутствовал, дело с восстановлением кир-  
пичного завода пошло насмарку?! Как ни старался на  
заседании исполкома председатель, какие ни приводил  
убедительные аргументы, — решить вопрос положитель-  
но не удалось.

Молодой прокурор района, опасаясь, как бы собст-  
венный завод Анагского колхоза не превратился в ча-  
стную лавочку и под носом у него не возник преступ-  
ный очаг расхищения общественных средств, перерыл  
свод соответствующего законодательства, нашел желае-  
мую статью и выложил ее перед Хатиашвили — вот, де-  
скать, уважаемый председатель, дорогой мой дядя Тедо,  
видите? То, что вы задумали и намеревались осущест-  
вить под личную ответственность, законом категориче-  
ски запрещено!

Расстроились, конечно, заинтересованные в деле чле-  
ны исполкома, особенно — анагские руководители, воз-  
лагавшие на завод столько радужных надежд. А уж  
сам Тедо Хатиашвили, который и вынес вопрос на об-  
суждение исполкома, — тот сидел как убитый. Как те-  
перь взглянуть в глаза Кривому Миха? После стольких-  
то уговоров и обещаний! И кто мог представить такое?!

Как ни думали, к каким только уловкам ни при-  
бежали, с каких только сторон ни обходили заколдо-



ванный вопрос — то окрестили завод подсобным предприятием, то назвали его межхозяйственным производством, ибо предназначался он для обслуживания не только Анагского, но и нескольких других колхозов района, — выход не находился. Чувствовалось, что закон был разработан сведущими людьми, он перекрывал все лазейки, и обход его, особенно после того, как вопрос был поставлен осторожным прокурором со всей официальной, конечно же, мог обернуться серьезными неприятностями для руководства района.

А возвратившийся из Сибири, словно воскресший из мертвых, Миха ничего об этих событиях, разумеется, не знал. Пристыженный неудачей Хатиашвили предупредил всех — «не говорите Миха пока ничего, не бередите ему рану. Я постараюсь еще, посоветуюсь в Тбилиси с юристами, обращусь в Президиум Верховного Совета»...

На второй день возвращения Кривой Миха оседлал ослика, нагрузил его рабочим инструментом, продуктами на неделю и отправился в путь. Расположился он на старом привычном месте. Вставал чуть свет, работал не покладая рук. Ночевал в палатке.

Тедо Хатиашвили никак не смог урвать время, чтоб посетить Миха. Весть о прибытии из Сибири «эшелона» с лесом облетела весь Кизики, да что Кизики — всю Кахети. Узнали об этом сперва соседние районы — Цителцкаройский, Лагодехский, затем Кварельский и Гурджаанский, вскоре дошли слухи до Телави и Ахмета. Посыпались звонки! Спасаясь от просителей, Тедо Хатиашвили не появлялся в кабинете, но скрыться от них не удавалось — его подкарауливали на улице, во дворе. Подозрительное молчание телефона не обескуражило руководителей близких и дальних районов, готовых уплатить любую цену за десяток бревен. Забросив все дела, они ринулись в Сигнахи. Секретарь райкома предусмотрительно скрылся — сославшись на неотложные дела, укатил в Шираки, на фермы, подбросив на растерзание агрессивным соседям Тедо Хатиашвили. Что этому-то оставалось делать? Отнекивался, клялся, божился, чуть не плакал, но отвязаться от наступавших не смог. Урвали-таки у него часть добытого стараниями Кривого Миха леса — целый вагон. При этом расспрашивали с пристрастием — как и где можно добыть себе лимит. А затем пристали к нему — «одолжи нам

твоего Кривого, или как там его, Миха, пошлем его в Сибирь, может, и нам повезет, тебе-то терять нечего!»

Тедо рассвирепел. «Как это — одолжи? Что он, скотина, что ли?! Так я ведь ног своих не унесу, скажи ему об этом!» «А ты не волнуйся, Тедо, — не сдавались соседи, — мы сами его попросим от своего имени, он не откажет нам, вот увидишь! Ты только не мешай нам...»

Тедо доказывал, что даже с его согласия Миха никуда не поедет, так как ему предстоит большая работа по заводу, что скоро наступит зима и потому весь район только и надеется, что на кирпич Миха, — просители не отставали, пока сам Миха не прогнал искателей дешевого леса и запретил раз и навсегда появляться в окрестностях завода. «Ах так? Ну погоди у нас! — пригрозили разобиженные товарищи, — припомнится тебе твой отказ!»

Спустя три-четыре дня Миха посетил прокурор из Сигнахи. После обычных приветствий прокурор внимательно осмотрел все вокруг, а затем задал Миха вопрос — точно такой, как и тот человек в френче, составивший когда-то протокол и заставивший Миха поставить под ним жирный крест: «Ты что здесь строишь, Миха?»

Залитый потом Миха искоса взглянул на прокурора и подумал: «Никак те же кварельцы и гурджаанцы подослали его уговорить меня, чтоб я поехал в Сибирь за новой партией леса!» И, решив дать гостю ясно почувствовать, что напрасно тот утруждает себя, что никуда он не поедет, хоть явись сюда и попроси его об этом сам Тедо Хатиашвили, Миха с улыбкой ответил, что строит он назло врагу хрустальный замок, хочет посадить в нем девицу-красавицу, а затем скрыть все двери замка так, чтобы ни одна живая душа их не обнаружила.

Прокурор нахмурился, сдвинул брови и угрожающе изрек, что-де в своем возрасте он, Миха, должен понимать, с кем он разговаривает и как себя следует вести. Миха смекнул, что пахнет здесь иным и что ему опять грозит неприятность.

— Кто тебе разрешил, — продолжал прокурор, — кто тебе позволил копать здесь землю, загрязнять окружающую среду?! По какому праву завез ты сюда строительные материалы?! А этот мотор чей? И почему он валяется без присмотра и ржавеет под открытым небом?!



Надеясь на поддержку своего благодетеля — председателя райисполкома — и зная, что тот не даст его в обиду, Миха довольно вызывающе ответил:

— Это почему же «без присмотра?» Меня ты не видишь, что ли? Раскрой как следует глаза!

— Значит, признаешься? Твой мотор?

— А что мне скрывать-то? Я его привез! Чей же он, по-твоему?

— Откуда привез?

— Кому какое до этого дело? Я его украл? Отнял у другого? Взял разрешение, все честь-честью, и привез сюда! Его место здесь! Или прикажешь запрягать в глиномешалку вместо той слепой лошади — тебя?

«Запрягать тебя?!» Последняя капля переполнила чашу терпения прокурора!

— Сейчас же, немедленно собери свои инструменты и убирайся отсюда! Сейчас же, пока мы не применили силу! Завтра утром изволь явиться в прокуратуру. Там узнаешь, кого куда следует запрягать и с кем как следует разговаривать!

— Что ты сказал?

Синий «Москвич» прокурора сорвался с места, обдав пылью оторопевшего Миха. Как же быть теперь? Умудренный жизнью Кривой Миха знал, что бороться с пользовавшимся властью прокурором ему не с руки. Не надейся на поддержку Тедо Хатиашвили, он и слова бы не вымолвил. Но зная, что прокуратура и милиция, как-никак, подчиняются председателю райисполкома, он не ожидал подобных оскорбительных слов в свой адрес — в адрес человека, уважаемого самим председателем. «Нет, — решил Миха, — видать, я с луны свалился, ничего не знаю. Может, с Хатиашвили что-то не так — или сняли его с работы, или и того хуже! Иначе разве этому желторотому птенцу не известно, по чьему разрешению и распоряжению строится на старом месте новый завод?»

На узких улочках Сигнахи еще не было ни души, когда Кривой Миха, миновав арку городской стены, поднявшись вверх по улице и привязав ослика к старому ясеню, прошел мимо здания прокуратуры и милиции, один вид которого наводил его на невеселые размышления. Миха решил, прежде чем идти в прокуратуру, разузнать все про Хатиашвили. Если он на прежнем месте

и ничто ему не угрожает, тогда можно было вообще не встречаться с молокососом - прокурором, а навестить прямо Хатиашвили. Но как сделать это? Ведь не оставишь на улице первого встречного и не спросишь его: «Скажи-ка, друг, что слышно про Хатиашвили? Он еще председатель или сняли его?»

Миха колебался, не зная, как поступить, когда со стороны парикмахерской, перед которой он привязал ослика, до него донесся знакомый голос. Он обернулся и ахнул: из парикмахерской выходил свежевыбритый Тедо Хатиашвили в белом кителе и полосатых брюках, заправленных в кирзовые сапоги.

— Ты зачем здесь в такое время? — спросил Хатиашвили. — Неприятность какая, или что? Да, знаешь новость? Поздравляю!

Миха снял с головы круглую войлочную шапочку, с которой он не расставался даже в постели.

— Какую новость?

— Твой завод подчинили комбинату местной промышленности. Отныне никто не посмеет даже пальцем тронуть тебя. Заканчивай строительство и приступай к делу! Учти, Миха, к концу следующего месяца ты должен выдать первую партию кирпича. Сделаешь это раньше — будем благодарны тебе!

— погоди, погоди... Ты шутишь или со мной не все в порядке?

— Да какие там шутки? Говорю тебе официально: вчера из Президиума поступило разрешение, второй документ подписан министром местной промышленности. Мы не успели даже зарегистрировать бумаги. На, вот, гляди! — Хатиашвили извлек из нагрудного кармана кителя сложенные вчетверо гербовые листы бумаг, развернул их и протянул Кривому Миха, однако, вспомнив, что тот не очень-то жалуется грамоту, с улыбкой спрятал бумаги в карман.

— Значит, к прокурору мне не ходить?

— К какому прокурору?

— К нашему, районному, к какому же еще?

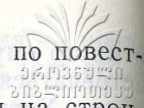
— А зачем он тебе нужен?

— Мне?! Да пропади пропадом те, кому он нужен! Сам велел явиться к нему!

— Когда это было?

— Вчера.





— Он что, человека прислал или вызвал по повестке?

— Какая там повестка! Сам пожаловал на строительство!

— Да что ты жвачку тянешь! Говори толком, что произошло?!

— Ничего не произошло, клянусь тебе, Тедо. Потребовал он документ — на каком основании, по чьему разрешению я землю копаю. Ну а какой документ мог я ему показать? Вот он и велел явиться сегодня к нему в прокуратуру. Говорил я тебе — не отстанут они от меня. Подчините меня хоть комбинату, хоть покойному моему деду — не будет мне от них покоя! Зачем же мне мучить себя? Хватит!

— Ты что, Миха, начинаешь все с начала?

— Не я — они начинают. Я им — как бельмо в глазу! И в чем я таком провинился? Ладно, что было — было. Работал я, считай что даром. Ничего у вас не прошу. — Кривой Миха нагнулся, отвязал ослика.

— Погоди, погоди, ты куда?

— А до каких пор здесь торчать? Пока не засадит меня в камеру твой новоиспеченный прокурор?

— Идем! Хочешь, сходим к нему вместе, хочешь — приглашу его к себе в кабинет, помирю вас!

— Нет, Тедо, избавь меня бог и от дружбы, и от вражды с такими людьми. Все они похожи друг на друга, как близнецы. Отстанет от меня — хорошо, я к нему ничего не имею, а нет, так... Слышал поговорку про терпеливую овцу?

— Ну, ну! Говорить так про представителя власти нельзя.

— А я, значит, ничей не представитель, и потому должен все терпеть, как вот этот бессловесный осел? Какая же это справедливость? От других было бы не удивительно, но слышать подобное от тебя?.. Не таким я знал тебя человеком!

— Ладно, Миха! За случившееся недоразумение извини меня. Ступай, займись своим делом, да не бросай его на полпути! С прокурором поговорю я сам. Нужно будет — заставлю его извиниться перед тобой. Чего еще тебе? Человек он молодой, горячий... Надо и ему кое-что простить. С нас с тобой больше спроса.

— Значит, идти мне?



044935340  
21220110333

— Иди, Миха!

— А если еще придут?

— Пошли их ко мне.

— Ну а теперь? Теперь ведь все у тебя в рамках закона? Зачем же прокурор к тебе придирается? — спросил я Миха, когда мы обошли ряды сырых кирпичей и вышли на линию пылавших печей.

— Хочешь знать правду? Так вот: не верит он в мою честность! Думает, ворую я, обогащаюсь незаконно. Да и Тедо Хатиашвили нет на прежнем месте. Из-за брата, который в Америке объявился, написал он заявление и ушел. Послали его в Хирсинский совхоз. А жаль! Когда не везет человеку — ничего не поделаешь!.. С кем поделишься, кого в чем убедишь?! Никому до тебя нет дела! Спросить — так у нас каждый занят своим делом. Эх, кабы так! Вот остались мы вдвоем, я да наш Свинопалкин, — и грыземся. А другие смотрят да посмеиваются. Зачем я должен ему уступать! Чем он занят? Что, глину месит? В печи жарится? Кирпичи таскает? В Сигнахи, знаешь, сидеть смог бы и я, если бы меня посадили. И приказы, знаешь, какие бы сочинял! Тоже мне работяга!

— Он — директор комбината, — вмешался в разговор Вано Кежерашвили, — а ты — рабочий. Ты создаешь материальные ценности, он отвечает перед правительством.

— Вот именно. Шиворот-навыворот.

— Почему же ты молчал, если хотел быть директором комбината? Зачем полез в дело с этим заводом?

— Ты помолчи, кежераанский парень, не болтай, чего не понимаешь! Если он директор и ответчик перед правительством, пусть пожалует сюда да станет рядом со мной, а не шлет оттуда приказы!

— Так ты ведь никого близко не подпускал? «Никто мне не нужен, сам справлюсь с делом!» — твои ведь слова?

— Значит, по-твоему, я — людоед?

— Что ты! Какой людоед! Ты — парень что надо! Вот только ты да твой Свинопалкин никак не найдете общего языка. Да и прокурор не сгорает от любви к тебе!

— Слушай, кежераанский парень! Язык дан богом человеку не для того, чтобы болтать самому и затыкать



рот другому! Допустим, я человек свой, но что наш гость подумает? В Кизики молодые не уважают стариков!

— Да что ты вдруг взъелся, словно тот прокурор? Шуток не понимаешь? Знал бы, не приехал бы к тебе и гостя бы не привез!

— Смотри у меня! Пожалеешь!

— Ладно, Миха. Знаю ведь, говоришь нарочно. И мне ты рад, и гостю. Признавайся!

— Сбегай-ка лучше на мост, посмотри — куда ребята подевались, где сомы?

— Серый! — крикнул Ваню.

— Ступай сам! Тоже мне барин, обзавелся помощником! Крикни ребятам — пусть поторопятся, хватит, сколько наловили, к вечеру сходят еще раз, никуда Алазани не денется! Сеть у меня хорошая, как бы эти черти не порвали ее!..

Ваню нехотя отправился выполнять поручение, а Кривой Миха с таинственным выражением лица стал спиной к печи и подозвал меня. Подойдя к нему, я почувствовал жар.

— Горит? — спросил я.

— Еще как! — ответил Миха с улыбкой уверенного в себе человека, знающего все тонкости своего дела. Не удовлетворившись ответом, он вынул из стены на уровне глаз кирпич, поднял его, словно свечу, отступил на шаг и обратился ко мне:

— А-ну загляни! Только не смотри долго, глаза попортишь!

Я заглянул в отверстие. Из раскаленного нутра печи на меня дохнуло зноем адского огня.

— Каково? — тоном победителя спросил Миха, потом водворил на место вынутый из стены кирпич и как ни в чем не бывало отряхнул с рук красноватую пыль. — Вечером остановлю печь. Полтора суток уйдет на остывание.

— А другие печи?

— Я топлю их по очереди. Одна стынет, в другую закладываю кирпичи.

— Значит, получается непрерывный поток?

— Заминка провалит все дело, сорвет план. И тогда... Нет, ты не подумай, наш директор неплохой человек, правда, ворчит, но сердце у него доброе, послед-

ную рубашку снимет с себя и отдаст другому. Ей-богу!

— Эй, Миха-а! — донесся до нас голос Ваню Кежерашвили, — оглох ты, что ли? Куда рыбу девать?

— Клади мне на голову! Спросить тебя, так ворочаешь ты мировыми делами, премьер-министр Англии без тебя — ни шагу, а спрашиваешь, куда деть рыбу?! Выпотрошите ее, потом помойте как следует. Пусть поможет этот твой, как его, Серый. А куда подевались остальные? Небось, порвали мою сеть?

— Не волнуйся, все в порядке. Сомов наловили порядочно. Остались ребята на реке, порыбачим, говорят, еще немного.

— Знаю я их! Не хотят пачкать рук! Явятся на готовое!

Кривой Миха отправил Ваню Кежерашвили в Цнори за горячими шоти<sup>1</sup>. Вернувшись, Ваню рассказал, что на обратном пути заехал в дирекцию совхоза и узнал у секретарши: Тедо Хатиашвили, оказывается, возвратился в совхоз сразу же после нашего ухода.

Я расстроился, почувствовал себя виновным и сказал, что нам надо ехать без промедления.

— Считаю, что я не слышал твоих слов. Но предупреждаю: скажешь об этом Кривому Миха — живыми нам отсюда не уйти! — шепнул мне Ваню.

— Выберемся мы отсюда поздно и можем опять не застать Тедо. Как мне быть тогда? Вернуться в Тбилиси ни с чем? Что я скажу редактору?

— Не волнуйся, все успеется. Встретимся и с Тедо. Только, ради бога, не вздумай отказывать Миха!

...Стол на скорую руку был накрыт в той самой отгороженной досками комнате, в которой, по словам Ваню, Кривой Миха изредка ночевал. Здесь же он принимал уважаемых гостей. Молодые огурцы, помидоры с каплями холодной колодезной воды, сыр «гуда», свекла и капуста прошлогоднего засола, джонджоли, зелень и, наконец, посыпанный петрушкой, жареный на вертеле сом, — все это, увенчанное любимым Миха белым мукузанским вином, могло не только нагнать аппетит, но воскресить даже мертвого! Мы молча приступили к делу. Некоторое время за столом раздавались лишь прерывистое дыхание и хруст. Кривой Миха наполнил гра-

<sup>1</sup> Шоти — вид грузинского хлеба.



ненный стакан, жестом призвал нас к тому же, проговорил обычное «ну, помянем бога!» и выпил. Мы последовали его примеру.

После третьего стакана Ваню затянул «И поспорили дрозд с куропаткой». Серый, словно только и ждал этого, подхватил песню вторым голосом, звонким и высоким. Тут же раздался густой бас Миха. Песню поддерживали остальные... Мы не заметили, как клонилось к закату, скрываясь в тучах, а затем и вовсе исчезло солнце. Лишь с наступлением темноты, когда за столом во всю мощь гремела песня «Шел я мимо родника», Миха, продолжая петь, знаком попросил сидевшего у двери Ваню Кежерашвили нажать выключатель. В комнате вспыхнул свет. Мы снова увидели друг друга.

— Слушай, ты, Серый! Ты пил вино? — спросил Кривой Миха нашего водителя, когда мы, выйдя из комнаты, шли, пошатываясь, к автомашине.

— А что, сидел бы свидетелем?

— Бить тебя следует, да некому! Будь я автоинспектором, близко бы тебя к машине не подпускал!

— Потому ты и не автоинспектор!

— Гость! Куда девался наш гость?

— Здесь я, дядя Миха! — подал я голос.

— Увидишь Тедо Хатиашвили, передай ему привет от меня. Так и скажи — шлет, мол, тебе привет Кривой Миха. Понял?

— Обязательно, дядя Миха.

— И еще вот что ему скажи, не забудь только: он должен жить долго, без него наш мир — не мир! Плевал я на мир без Тедо! Пусть живет на радость нам! Так и скажи!

— Скажу все точно так, дядя Миха!

— Скажи еще: Кривой Миха все тот же. Правда, стареет, голова варит не так, что поделаешь, годы берут свое, будь они неладны! Но не беда! Миха не опозорит себя и его не опозорит! Так и передай ему!

— А что, разве я не могу сказать Тедо то же самое? — раздался откуда-то голос Ваню.

— Отстань! — отмахнулся от него Кривой Миха.

— Гость завтра уедет, не век же быть ему с нами, а я остаюсь здесь, так что тебе выгоднее задобрить меня, если хочешь уладить свои дела со Свинопалкиным и прокурором! Дошло?

— Брось чепуху молоть... Споем-ка еще раз, вознесем хвалу всевышнему, авось смилуется он, шлет нам мирный сон.

Упрашивать не пришлось никого. Полилась песня, алазанским водоворотом всплеснулись глубокие басы, сквозь лоскуты облаков ярче засияли звезды в небе. Мы взялись за руки, сомкнули круг. Не хотелось расставаться. Далеко за полночь, когда в небе зажглась утренняя звезда, мы распрощались и втиснулись в нашу машину-клячу. Миха стоял, припав на хромую ногу, и махал рукой, пока наш автомобиль не растворился во мгле. Потом... Я ясно представил себе, что будет потом: Кривой Миха не спеша, прихрамывая, возвращается под навес, велит ребятам убрать посуду и идти спать — «утром встану рано, помою сам!» — и направляется к пылающей печи, в которую дал заглянуть мне. Ночью предстоит начать охлаждение печи...

Перевод Зураба АХВЛЕДИАНИ

## ХРОНИКА

### НОВЫЙ УСПЕХ ПААТЫ

В начале года народный артист Грузии, лауреат международных конкурсов Паата Бурчуладзе принял участие в благотворительном концерте, состоявшемся на сцене «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке. Участники концерта — Елена Образцова, Мирелла Френи, Пласидо Доминго, Владимир Виардо и другие перечислили средства от него в фонд пострадавшим от землетрясения в Армении.

До Нью-Йоркского выступления Бурчуладзе выступил на другом благотворительном концерте в Вене. Планы певца, как всегда, обширны. Он примет участие в спектакле «Хованщина» М. Мусоргского в постановке Клаудио Аббадо на сцене «Штадс опера» (Австрия). Будет петь в Филадельфии, он — почетный гражданин этого города. После выступления в Тбилиси в опере Дж. Верди «Дон Карлос» П. Бурчуладзе предстоят гастроли в ФРГ, США, Италии...





Павел ФЛОРЕНСКИЙ

## Сон

Стояло солнце над Курой  
 Как будто недвижимо.  
 И облаков тяжелый слой  
 Как будто дым камина  
 Давал какой-то странный свет  
 В той местности безлесной,  
 Где встал над городом хребет  
 Со стороны Небесной.  
 А мы все шли вперед, вперед,  
 Вперед неудержимо!  
 Как будто нас там счастье ждет,

**Д**етские, отроческие и юношеские годы П. А. Флоренского (1882—1943) прошли в Тбилиси и Батуми. В 1899 году он с отличием окончил 2-ую тифлискую классическую гимназию, и именно тогда забили для него «кастальскими ключами» вдохновения горные вершины Кавказа. Стихи, датированные 1900—1915 гг., написаны им в Тбилиси и Коджори, «дорогою в Тифлис», «дорогою из Манглиса», в Сурами... Лирика Флоренского этого времени пропитана пафосом гимназической дружбы и совместного жизненного восхождения. Не случайно сборник стихотворений, составленный им в 1905 году в Тбилиси, называется «Ступени».

Язык стихотворений П. Флоренского богат и выразителен, он включает несколько «октав» — от простонародной лексики до библейских речений и архаизмов. Флоренский явно тяготеет к высокому патетическому стилю, с пышными элементами барокко, не чураясь, однако, и шуток, и иронии, и гротеска.

В архиве семьи Флоренских сохранились десятки его неизданных стихов и несколько поэм: «Белый камень» (1904), «Эсхатологическая мозаика» (1905), «Оро» (1934). Этот хронологический пунктир позволяет считать, что поэзия не была слу-

Зовет неумолимо.  
Я был с тобой, мы шли вдвоем.  
О друг, мой друг давнишний!  
Мы все идем, давно идем,  
Здесь третий был бы лишним.  
Молочный свет... И нет теней  
Следов неуловимых.  
Одни лишь отсветы лучей  
На сумрачных вершинах.  
Бросая в даль за взглядом взгляд,  
Забыв о возвращеньи,  
Идем и грезим наугад,  
Не оставляя тени...

1901 г., Тифлис

## В лесу

Посмотри, как тот вон луч,  
вырываясь из-за туч,  
камни с лаской охватил  
и сейчас их оживил.

---

чайным явлением в творчестве Флоренского, сопутствовала ему, хотя и с большим перерывом, почти до конца жизни.

Небольшая часть из поэтического наследия Флоренского опубликована в альманахе «День поэзии 1987» и журнале «Театральная жизнь» (1988, № 17). В предисловии к стихам Флоренского в «Дне поэзии» высказано предположение о взаимном влиянии «теургического» символизма А. Белого и П. Флоренского. Переписка поэтов (1904—1914) подтвердила это предположение. Так, например, в письме от 11 августа 1904 года А. Белый с удовлетворением отмечает: «Дорогой Павел Александрович, ну конечно мы совпали! В то время, когда Вы писали о символах, как об элементах, формирующихся по определенным внутренним законам, я писал о символе, как об определенной эстетической единице, как о мере художественного измерения, как о едином неоплатоников...».

Следует заметить, что Флоренский развил теорию символа на стыке гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Уже в «Столпе и утверждении истины» (1914) он подчеркивал возможность и целесообразность алгоритмического описания отвлекающегося от интерпретации соответствующих символов.





Тайный смысл везде вокруг,  
 он повсюду, милый друг.  
 Символ — все, все смысл таит,  
 меж собою говорит.

Посмотри на пятна света!  
 Ведь с улыбкою привета  
 нежно-грустной и большой  
 шлют намек они нам свой.

Все гармонию скрывает,  
 всюду свет идей играет, —  
 и значенье естества —  
 лишь Шехина Божества.

Коджори, 23 июля 1901 г.

## На перепутьи

(В Белом Духане)

Мы стоим на перепутьи  
 и дрожим от тьмы.  
 В полном трепете предчувствии  
 ждем рассвета мы.

Стихи Флоренского, однако, свободны от того, что принято называть «научной поэзией» в специальном значении этого термина. Это «стихи как стихи», в них, за редкими исключениями, нет сугубо рационалистической подкладки. Не лишённые иррационального начала, они достаточно уравновешены и не претендуют на «заумь», истине ничто человеческое им не чуждо.

Вместе с тем в стихах Флоренского сохраняется высокое парение души, его взор не только обращен к небу, но и стремится проникнуть за горизонт. Отсюда тот космизм, который не ускользнул от внимания вдумчивых читателей. В рецензии на «День поэзии 1987» видный советский писатель и критик Евгений Осетров, выделяя стихи Флоренского, пишет:

«Читая стихи Павла Флоренского, ученого-энциклопедиста, невольно думаешь о том, каким упрощенчеством отличаются ведущиеся в нашей периодике споры о философской поэзии, о космосе человеческой души. Подобно Данте, увидевшему маленькую Землю с высоты Млечного Пути, Павел Флоренский нарисовал в стихах солнечный восход как предчувствие косми-

Все мы, путники, томимся  
и восхода солнца ждем,  
тенью мрачных мы страшимся...  
бледно светит небосклон.



Жизнь волнами всюду хлещет,  
блеском золота горя.  
Почему ж так слабо блещет  
Солнца вечного заря?

Июль 1901

## Из Анакреонта

Пьет ведь темная земля.  
Рощи пьют ее, лесочки.  
Океан пьет ветерочки,  
Солнышко же пьет моря.  
Месяц солнце выпивает.  
Что же мне-то помешает  
пить, коль хочется, друзья.

Коджори, 19 июля

---

ческого полета, совершаемого земными птицами, объатыми огнем».

Такое, условно говоря, космическое видение, не было, на наш взгляд, лишь данью новой эпохе, поэтическим откликом на призыв Н. Ф. Федорова к «штурму небес», к освоению иных планет. Оно было, прежде всего, выражением глубокого внутреннего опыта. Состояния «космического сознания» (термин Анри Бергсона) были знакомы Флоренскому по личному опыту.

В заключение хочется отметить, что Флоренский как поэт интересен не только тем, что писал в русле европейского и русского символизма, но, главным образом, тем, что явился новым гимнографом, продолжившим традиции великих византийских поэтов Романа Сладкопевца и Андрея Критского. В этом направлении Флоренский сделал немало для возрождения и развития современной литургической поэзии.

Задача данной публикации, однако, ограничивается попыткой представить читателю прежде всего ранние стихи Флоренского, написанные в Грузии.

Валентин НИКИТИН



В пылу экстаза, вдохновенья  
Поэт, не ведая, творит.  
И вот в дыму его творенья  
Предвечный ЛОГОС вдруг блеснит.

Во тьме та искорка сверкает,  
Тьму победить уж близок свет.  
Но дым глаза нам выедает,  
И мы кричим, что света нет.

1901, июля 11  
Коджори

## Море

Оно раскрывало гигантскую пасть,  
топырило верхнюю губу  
отвратительную, чернеющую, гнилую,  
с желтым исподом, —  
с желтым.

Оно закрывало гнусный зев,  
пришлепывая губу от угла пасти.  
Оно ревело угрожающе,  
и слышался хруст под зубами, —  
хруст под зубами.

Оно наслаждалось богатым уловом,  
шлепающая губа покрывалась  
сладострастной пеной, —  
пеной и слюной сладострастия  
на хрустящую добычу...  
добычу.

Мерзкая трясущаяся масса,  
плоская, как клоп, и холодная,  
распластавшаяся, как медуза,  
уходила хвостом  
в бесконечность.

Мы молчали молчанием страшным  
и приросли к своему мы месту,  
и колоннами белыми застыли.  
Мы молчали и тупо застыли...  
застыли.



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
СОВЕТСКОГО ПЕЧАТНИКА

Наши братья и сестры хрустели  
в пасти непреодолимого чудовища.  
Мы стояли и глаз не сводили,  
потеряв пониманье, в чем дело...  
в чем дело?

Уже поздно и тщетно молиться.  
Хрустят под зубами наши братья  
и, один за другим, исчезают  
в темной бездонной пучине, —  
бездонной.

И мы видим взор их предсмертный.  
Мы видим их дорогие лица,  
искаженные болью и отчаянием.  
И мы молча ожидаем своей участи...  
ожидаем.

Ноябрь 1903 г.  
(Батуми?)

## Звезде утренней

Богородица ясная,  
не оставь, помоги.  
Жизнь мятется ненастная,  
обступили враги.

Розвым облачком, Нежная,  
Ты в лазури скользишь, —  
жду в тревоге мятежный я,  
жду я мира. Дай тишь!

Пронизается алостью  
далее синяя муть.  
Вновь Нечаянной Радостью  
не зардеется ль грудь?

\* \* \*

Мариам ясно-взорая,  
тихим оком взгляни.  
Ты — Помощница скорая,  
Ты засветишь огни.

Ведь влоптьмах бегу тропкою  
ядовитых зарниц.



И с надеждою робкою  
не поднять мне ресниц.

Волоса золоченые  
обвивают Звезду:  
через слезы соленые  
вдаль смотрю и бреду.

## Свидание „там“<sup>1</sup>

А, старый Товарищ! Давно не видались,  
давно уж с тобой в поединке не дрались.

Ты помнишь ли наши взаимные раны?  
Садись, раздевайся. Вот, чаю стаканы.

Ну что, на дворе, видно, хуже и хуже?  
Гляди, весь в звездах ты. Согрейся со стужи.

Твоя борода индевеет от снега.  
Садись, тут охватит приятная нега.

Вот, жидким топазом здесь ром золотится,  
и огненным глазом полено искрится.

За окнами свищут нагайки злой вьюги,  
но мы — у камина, мы — будто на юге.

А помнишь ли? Розно мы шли по дороге,  
и вызовом грозно трубили мы в роги.

То осенью было. Листов багряница  
носилась по ветру, как поздняя птица.

Потом наступили сырые туманы,  
и мы наносили взаимные раны...

Давай твой стакан мне, — налью еще чаю.  
А знаешь ли, Друг, по тебе я скучаю,

с тех пор, как разстался на поле с тобою  
и снежно-пустынную брел пеленою...

---

<sup>1</sup> Стихотворение посвящалось Асатиани, товарищу по 2-й тифлисской гимназии.

.....  
Как злится-то вьюга! Чего она хочет?  
Сама над собою бессильно хохочет.



Святая<sup>1</sup> настанет: вот близко уж время.  
Из гроба возстанет Жених и все бремя  
нам сделает легким, и радостно вскоре  
раскроются крылья в лазурном просторе.

1904 г.

## Андрею Белому

Ты священным огнем меня разом увлек! —  
песнопения волны носились...  
Хризолитовых струй всюду виделся ток,  
золотистые змейки искрились.

Жидким золотом вдруг засверкал океан —  
огневеющим кружевом линий.  
Потянулся столбом голубой фимиам,  
и эфир отвердел темно-синий...

Москва, апрель 1904 г.

## Конец мира

Леса в пылающий наряд  
Одеты пламенем — горят.

Осины трепетный убор —  
Внезапно вспыхнувший костер.

И шелестит-шуршит камыш,  
И грустно каплет с мшистых крыш.

Мятется ветер с ближних гор,  
Бушует лиственный костер.

И стонет гулкое «ау».  
Но тщетно, тщетно я зову.

Как камень, брошенный в обрыв...

<sup>1</sup> Святая (Светлая) седмица — Пасхальная неделя.







## АРАВИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

Она улыбалась. Так казалось. Потом я почувствовал, как две холодные руки, подобные дохлым рыбам, коснулись меня. И я услышал голос ее, похожий на скрип ржавых дверных замков:

— Как твое имя, мой молодой незнакомец? Приблизься ко мне... Не бойся...

А у меня запал язык...

### ОБ ОДНОМ СОВЕТЕ ПРЕКРАСНОЙ ДАЛИЛЫ

Рассказчик продолжал:

— Халаф был удручен, так удручен, как может быть удручен мужчина, которого насильно женили на безобразнейшей женщине. Но как только он вспоминал своего похотливого начальника, поблагодарил судьбу, пославшую ему Биду—дочь некоего купца по имени Фирас ад-Дауль. Он не мог хотя бы приблизительно определить возраст госпожи, которую предстояло ублажать. А не мог по той простой причине, что не было ни единого зелья на свете, которым бы не умащивала она свое брненное тело от ног до лица. Различные мази привозили ей из Персии и Йемена и даже из Индии.

Халаф поведал своим друзьям следующее:

— Однажды, выйдя из покоев похотливой Биды, я заметил у окна певицу Далилу, которая услаждала слух ненавистной Биды. Заметив меня и видя, сколь несчастлив с виду, она спросила:

— Неужели нет средства, чтобы ты обрел свойственную молодым людям жизнерадостность?

---

Окончание. Начало см. в № 2.

— Увы, — с трудом выговорил я, ибо силы мои ослабли на проклятом любовном ложе.

Далила была хрупка и прекрасна, как цветок на персиковом дереве. И голос ее походил на сладко звучащую трель соловья. Ее глаза сверкали, подобно лучистой звезде, которая в полночном небе. За легким шелковым одеянием угадывались груди, которых еще словно бы не касались мужские руки. Я краснел, стоял перед нею, и язык не повиновался мне.

— Халаф, — сказала она, — надо придумать что-нибудь, чтобы жизнь твоя не кончилась плачевно в этом городе.

— Что же придумать? Разве не видишь, Далила, что творят со мною?

— Да, — сокрушенно заметила она, — злая Бида тебя никому не отдаст. Но я могу присоветовать кое-что...

Я упал перед нею на колени и поцеловал ее туфельку, которая была из златотканной парчи.

— Встань, — приказала она, — и выслушай меня.

Я повиновался с большой охотой, ибо слова и взгляд этой красавицы были настоящим бальзамом для души и тела.

Она сказала доподлинно следующее:

— Бида верховодит в этом доме, а господин под ее пятою. Берегись ее! Она способна на все, что только может подсказать тебе воображение. Бида может влюбить в себя кого угодно. Запросто. Но ей надоедают любовники. Тогда она отдает их на растерзание кровожадным собакам. Они живут в том, дальнем углу сада. Но пока она любит, пока нравишься ей — ты властелин ее. Проси у нее все, что угодно, и ты получишь это.

Я слушал Далилу благоговейно и думал: «Чем я так разжалобил ее, чем обязан ее вниманию? Ежели слова ее достигнут слуха Биды — навлечет на себя Далила верную погибель».

А Далила продолжала:

— Если ты жаждешь свободы — влюби Биду в себя покрепче, а потом попроси у нее разрешения пройтись по улицам города и взглянуть на главные ворота, которые зовутся Золотыми, ибо они золотыми плитками облицованы. Но знай: каждая плитка — это две, нет — три жизни таких рабов, как ты. Знай еще: город этот



стоит на крови и костях. И еще знай: ты найдешь способ выйти за ворота — только получше приглядишься к ним и их страже. Ублажи молодцов дарами, которые добудешь у Биды. И еще запомни: пустыня, о которой ты мечтаешь, безжалостна к людям. А теперь выбирай и верши сам свою судьбу. Она в твоих руках, — она усмехнулась: — И в твоих чреслах.

Далила повернулась спиной, чтобы удалиться. Но я ухватил ее за руку и обратился к ней с мольбой:

— Чудесная Далила! Если будет великая нужда, где мне искать тебя? Умоляю: где твоё жилище?

— За той дверью, — сказала она и скрылась в глубине зала. А дверь ее была украшена голубыми драгоценными камнями.

Сознаюсь: я мечтал о свободе, но готов был положить жизнь ради одной любовной ночи с Далилой. Ее голос, ее глаза, стан ее и походка могли вскружить голову не только мне, человеку не искушенному в любви, но и тому, кто главным делом жизни избрал служение женщинам.

У меня запылал лоб, испарина выступила на затылке. Вышел я из дому, шатаясь, и передохнул под ветвистой вишней. Свобода или Далила? Я крепко задумался.

В первую же ночь, ублажив Биду так, что она оказалась сыта по горло, испросил у нее позволения пройти по городу и взглянуть на диковину его — Золотые ворота.

Она потрепала меня по щеке, этак осклабилась и произнесла, шепелявя:

— Ладно уж, шалун, ступай себе утром и погуляй по городу. Я распоряджусь, чтобы не сделали тебе зла. А теперь дай мне поспать, ибо ты, шалун эдакий, унес все мои силы без остатка.

Я поцеловал ее дряблые щеки и поспешил к себе.

Далила подала мне бесценный совет, размышляя я, и я пребуду у нее в вечном долгу. Но искать свободу за стенами Медного города — значит бросить Далилу, хотя она вовсе мне и не принадлежала. Зато, продолжал свои размышления, я принадлежу ей, и притом безраздельно. Зачем мне свобода, если со мною не будет Далилы? И в то же самое время, противореча самому себе, я говорил так: то, что она полюбилась мне — все-

го лишь полдела. Кто я ей? Она сжалилась надо мной, видя, как коварная Бида наслаждается мной, понимая, что я непременно зачехну в ее лапищах. Но что, ежели буду отвергнут Далилой? Она отомстит за мою дерзость? Или простит? Хотя бы из сострадания...

В голове роились вопросы, вопросы, вопросы, но не было ни одного верного ответа.

В конце концов я решил, что прогулка по городу кое-что подскажет, и я, несомненно, лучше разберусь в том, как поступать мне дальше. Итак, с образом несравненной Далилы в груди двинулся в город. К великому удивлению, никто меня не задержал. Напротив, на некотором отдалении меня сопровождали хорошо вооруженные молодцы, дабы никто не причинил мне зла.

## О ПРОГУЛКЕ, КОТОРАЯ МНОГОГО СТОИЛА

Рассказчик говорил:

— Весело потрескивали сухие ветки колючек, освещающая клочок земли во мраке вселенной. Халаф же продолжал рассказ, удивляя своих слушателей:

— И вот зашагал я по улице медленно, медленно. Начинаясь она у дома господина, в котором меня содержали, и уходила вперед прямая, как стрела, и упиралась в сказанные Золотые ворота. Шел я, и казалось мне, что иду меж золотых стен, ибо и по правую руку, и по левую руку сплошь тянулись лавки золотых дел мастеров, которые зазывали меня купить различные украшения, ибо одет я был пристойно, как человек с достатком. За мной неотступно следовали те два молодца, которых приставила ко мне Бида.

А навстречу, согбенные под тяжестью поклажи, торопились некие молодые люди, очень походившие на тех, кто жил в пустыне. На мои расспросы они не отвечали, а иные шарахались от меня, и в глазах их стоял великий испуг. Я не сразу понял, в чем тут дело, пока один господин, с таким округлым лицом и таким же округлым животом не объяснил, отчего это шарахаются от меня переносчики тяжестей.

— Я вижу — ты чужеземец и к тому же знатного рода, — сказал он, смешно шевеля усами. — Эти ничтожные существа служат нам, следовательно, и тебе. И



каждое наше обращение к ним они могут воспринять как нашу слабость. Оттого и шарахаются.

Я не понял господина и спросил:

— О какой слабости речь, о знатный незнакомец?

— О самой простой. Если ты заговариваешь с ними — значит, так или иначе приближаешь их к себе. Но можно ли раба, хотя бы на мгновение, превращать в ровню?

— А какого они роду-племени? Мне они показались знакомыми с виду. Это не эфиопы и не византийцы, не иудеи и не огнепоклонники из Персии. И говорят они на нашем языке.

Господин залился противным смешком:

— Не будь наивным: ежели бы не они — ходили бы мы с тобой в лохмотьях и ели сухие листья, наподобие верблюдов. А какое тебе дело до их языка? Они же хорошо понимают язык плетей. Этого с них вполне достаточно.

Воистину подивился я этим словам. По наивности полагал, что со мной произошло великое недоразумение и что если правитель этого города узнает, что я бедуин, тут же проявит ко мне снисхождение и скажет своим жирным холуям и молодцам: «Не трогайте его — он наш, он — бедуин».

Размышляя подобным образом, я продолжал свой путь.

Молодцы не спускали с меня глаз, проходились плетью по спицам несчастных, с кем по недомыслию я разговаривал. И я не стал больше обращаться к моим единокровным, судьба которых была столь плачевной в непостижимо богатом Медном городе.

Наконец увидел то, о чем так мечтал: Золотые ворота! Еще издали блеснули они, словно рассвет, и ослепили меня. Невольно зажмурил глаза. А когда предстал перед воротами близко, как перед вами, то увидел, что они сплошь из золота и изумрудов. Усатые молодцы, вооруженные кинжалами и копьями, стерегли чудо Медного города. Я сделал вид, что занимают меня эти изумруды, крупные, как булыжники на берегу моря, а на самом деле вынюхивал, как крыса, нет ли какой лазейки, которая вывела бы меня из проклятущего великолепного города в пустыню.

Караваны с верблюдами двигались в двух направ-

лениях: в город и из города. Купцы беседовали с молодцами. Присмотрел тех, кто давал богатый бакшиш, и тех, кто различными хитростями провозил свой товар с малыми издержками.

Я подошел к одному из стражей ворот.

— Скажи мне, — обратился к нему (а росту в нем было без малого локтей шесть), — какова та сила, которая открывает ворота? Ибо, как погляжу, вес их столь велик, что и сотне молодцев не справиться с ними.

— Новичок, — гаркнул страж, — есть в этих воротах одна хитрость, и достаточно мизинца, чтобы отворились они настежь.

— Я очень, очень удивлен, — признался я. — Неужели такой великий город, как наш, может зависеть от силы одного мизинца?

— Ты — что? Только родился? — удивился страж. — Мизинец приводит в действие некую машину, которая вся из бронзы, а та отпирает ворота. Но ежели ворота на замке, — нет силы на земле, могущей одолеть их.

Я посмотрел на городские стены — они были словно горы: такие могучие, такие высокие, такие... Впрочем, у меня недостает слов, чтобы описать так, как того они достойны. Воистину, это укрепления великого города, и обороняют они живущих в городе с невиданной надежностью. Князь этого города, жиреющий на поте и крови рабов, желал чувствовать себя в полной безопасности. Я полагаю, что мои божества более подвержены опасности, нежели царь Медного города, его домочадцы и разного рода холуи.

Я подарил стражу добрый кусок золота — подарок проклятой Биды — и сказал:

— Благодарю тебя за дельные объяснения, храбрый молодец! Благодарю покорно, хотя, признаться, до конца-таки не уразумел того, как это несчастный мизинец может придать некое движение эдакой машине. Какова бронзовая машина, обладающая столь великой силой?

Страж оценил мою щедрость и показал то, что не должно было попадаться на глаза никому, кроме самих стражей. В глубокой расщелине каменной скалы находился тайник, а в нем — ручка, поддающаяся вращению.



— Достаточно покрутить эту ручку, — пояснил страж, — чтобы приоткрылись ворота сначала чуть-чуть, а потом — все больше, все больше.

— О, великий молодец! — восхитился я. — Воистину ты и твои друзья обладаете большой тайной и все мы в ваших твердых руках. Но, как полагаю, вы не спите ни днем, ни ночью...

Страж остановил меня:

— Не совсем так, господин. Есть час, когда мы ложимся ненадолго, чтобы снова бодрствовать и охранять ваше спокойствие. И спокойствие его светлости нашего князя. — Страж гордо сообщил: — Я однажды побывал у князя и поцеловал землю у его ног.

— Счастливчик, — сказал я.

— Да, я очень счастлив.

— Я приду к тебе, великий молодец, когда вы не будете отдыхать. Я принесу тебе прекрасный подарок, ибо ты в сердце моем.

Он обнял меня да так, что ребра мои хрустнули.

— О, брат, только не являйся в час второй стражи, ибо в это самое время сон наш особенно крепок.

Я сказал:

— Найду другое время и тебя найду. Зовут меня Халаф.

— А меня Насир. Меня знают все: Насир—Кулачный боец. А почему так — скажу: одним ударом я сбиваю с ног матерого верблюда.

Насир с гордостью показал кулак, который был в спелую дыню, и твердость была подобна железу.

— Насир, — сказал я, — прощаюсь с тобой, ибо ждут меня.

Я достал еще кусок золота и небрежно всучил Насиру, отчего страж совершенно разомлел.

— Приходи, когда угодно, — возрадовался он. — У меня шербет из подвалов его светлости.

Я обнял Насира: его стан был под стать тем воротам, которые он стерег — весьма могуч.

Возвращаясь домой, я невольно думал о Биде и меня поташнивало.

Рассказчик говорил:

— Халаф повествовал чистосердечно. Не скрывал ничего. И что было скрывать среди необозримой пусты-

ни, под пустынным необозримым небом и в мире, где все казалось призрачным и недолговечным? Он говорил:

— Меня шатало, когда я возвращался от Золотых ворот. Перед глазами стояла Далила. Она улыбалась мне. Манила пальчиком тонким и гибким, как стебелек цветка. Ресницы ее плавно опускались, когда она смыкала веки. А щеки золотились подобно персикам из Басры. Я двигался, не чуя под собою ног, ибо силы придавала им несравненная Далила.

Я уже не помышлял о бегстве, хотя постиг тайну ворот.

У нас в палатке я слышал рассказы о красавицах, которые влюбляли в себя юношей, а затем превращали их в злых духов и запечатывали в кувшины, а кувшины те кидали в море на милость волн. «Пусть запечатывают меня, — говорил я себе, — лишь бы раз прикоснуться к ее коленям.» Это я о Далиле. И меня почему-то не смущало ее положение в доме и я даже не подумал о том, есть ли у нее покровитель, лобзающий ее губы, подобные рубину.

Придя домой, положил я голову на широкую подушку и уснул с именем Далилы на устах. А проснулся от того, что кто-то не спускал с меня глаз, и взгляд этот, пронзающий, как шило, разбудил меня. И увидел я старуху, морщинистую, и глаза ее увидел, которые смотрели на меня так, как если бы они были материнские.

Вскочил я, извинился и спросил:

— Кто ты, уважаемая, перед которой обязан стоять на коленях?

— Я от той, чье имя шептал ты во сне.

— Как?! — Я чуть было не лишился разума. — От Далилы?

— Да, юноша. — Она немножко шепелявила. — И знай: она жаждет тебя и жалеет тебя, ибо ты попал в лапы ужасной Бида.

— Что делать мне, матушка?

Она сказала:

— Сегодня, после обеда, когда все разомлеют и уснут, а вместе со всеми и Бида, иди в ту дверь, которую знаешь. И там увидишь то, что увидишь.

Я бросился целовать руки доброй старушки.

Я прислушивался к каждому шороху в большом



доме и, когда все погрузилось в послеобеденную слякку, я, выждав еще какое-то время, глубоко вздохнув, словно готовился нырнуть под воду, осторожно пересек большущий зал с колоннами. И я увидел заветную дверь и тут почувствовал, как сердце мое выскочило из груди и понеслось вперед, увлекая меня за собой.

За окованной медью и золотом дверью меня поразила душистый запах индийской воды и диковинных цветов, которых не видели мои глаза. А на ложе, широко, как йеменское поле, возлежала та, которая ослепила меня ярким светом.

Бросился я перед нею и поцеловал ступни ее ног, которые были душистее сандалового дерева.

— Встань, — сказала она мягко, — и ложись рядом.

Я повиновался и, все еще не веря в свое счастье, признался ей:

— Далила, это сон.

— Да, сон. Но прекрасный. Ведь жизнь и есть прекрасный сон.

Я поразился ее словам, ибо ее устами говорила сама мудрость. А что — разве нет? И, расхрабившись, попросил ее рассказать что-нибудь про себя. Далила не заставила себя долго упрашивать.

— Знай, о Халаф, я дочь богатого бедуина. Наши верблюды давали столько молока, сколько хватило бы на пять больших семей. Мне было двенадцать лет, когда молодцы из соседнего племени убили отца. Был среди них первейший в нашем краю разбойник. Это он, сделав меня женщиной, бросил посреди барханов. Меня нашли только к утру. Когда я пришла в себя, то оказалась в этом городе, в этом самом доме, у этой самой Биды.

Далила заплакала, и слезы ее, крупные как капли дождя, полились на мою грудь. Не зная, как успокоить ее — я прикрыл ее уста своими и тут я познал, что есть вкус меда, ибо ее губы-рубины источали мед. Когда я признался в этом Далиле, запинаясь от любви к ней, она пощекотала меня за ухом, говоря:

— Я желаю, чтобы ты знал, что есть иные, настоящие женщины на свете.

Я сказал:

— Далила, не могу без тебя, как не может небо без луны и звезд.

На это она проговорила:

— Ты юн. Ты пылок. Пройдут годы и ты поймешь, что слова твои искренни, но не совсем точны, ибо человек ко всему привыкает. Например, я.

И поведала про свою жизнь в заточении, где вынуждена ублажать пением Биду, а плотью — уroda, господина этого дома.

— Давай бежать вместе! — воскликнул я, обливаясь слезами.

Поглаживая мне голову, Далила сказала:

— Не могу. У меня в этом проклятом городе мать и брат. Они умрут без меня.

Я омывал любимую Далилу потоками слез, которые вытекали из глубины моего сердца. Родник этот был чист и свеж. Это пленило Далилу и она вознесла меня на седьмое небо, выказав истинную любовь, от которой я долго лежал бездыханный у ее ног.

Она говорила, продолжая своими гибкими пальцами поглаживать мне голову:

— У тебя жесткие волосы. Значит, характер у тебя крутой. Мой совет: беги отсюда, а иначе — смерть тебе или вечное рабство. А в пустыне: свобода или смерть. И то, и другое — достойно мужчины. И еще совет: вымани побольше золота у своей уродины и беги отсюда. Беги без оглядки!

Ее слова впивались в меня, как шипы прекрасной розы, и каждое слово вышибало из моих глаз столько слез, что их хватило бы, чтобы искупать человека.

Она пожалела меня, приласкала и вновь оказался я на седьмом небе. И сказал я себе: «О, Халаф, несчастный, помолись своему великому божеству за то, что послал тебе такое счастье, как эта Далила. А иначе бы ты всю жизнь проклинал женский род». И мне стало тошно при одной мысли, что и этой ночью придется ублажать свою уродину. Однако, памятуя слова моей покровительницы Далилы, я дал себе зарок проявить великое благоразумие, мужество, взять себя в руки, дабы уродина не разгадала моего истинного намерения.

Я упал перед Далилой, оросил слезами ее грудь и возопил:

— Радость моя, которая уже глубоко в сердце мо-



ем, как же оставлю тебя? Как жить без тебя? — и разорвал на себе парчовое одеяние и златотканый персидский пояс.

Далила зарыдала. Она призналась, что не встречала еще мужчины столь мощного в любви и страсть моя так пленила ее, что больше не желает иметь дела ни с одним из своих господ...

— Но, — заключила она, — иди к ней, выпроси побольше золота, и это пойдет на благо тебе. А в той свободной жизни, — дай слово! — помни обо мне. Я же тебя не забуду.

С этими словами она выпроводила меня, наказав отдохнуть немного после любовных утех и предстать перед уродиной таким, каким она привыкла видеть меня.

На прощание я поцеловал землю у ее ног и облобызал холодную дверь, не смея более притрагиваться к Далиле.

Что же было дальше? Скажу так: я поступил по совету Далилы, добыл у моей уродины много золота, которое в итоге досталось страже Золотых ворот, двинулся в пустыню, очертя голову, и вот я с вами...

И византиец, и еврей-ювелир подивились рассказу бедуина. Они долго не могли вымолвить ни слова. Но понемногу, прочувствовав горестную повесть Халафа, обратились к нему с вопросами, прося его ответить на них.

Всех троих донимал голод, а за разговорами скорее придет рассвет и, может, удастся словить какую-либо съедобную живность.

## **ХАЛАФ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛЮБОПЫТСТВО ДРУЗЕЙ ПО НЕСЧАСТЬЮ**

Рассказчик продолжал:

— Я, — сказал византиец, — признаться, с трудом верю в существование Медного города. Уж слишком страшно, почти неправдоподобно то, о чем говорил уважаемый Халаф. Впрочем, в мире множество чудес. И одно неправдоподобнее другого. Но ежели...

Его перебил Халаф:

— ...ежели имеются следы, живые свидетельства...

И с этими словами он обнажил свою спину, и она была вся исполосована так, как трудно себе это вообразить.

— Несчастный! — воскликнул ювелир.

Деметрий прикрыл глаза ладонями, говоря:

— Не могу смотреть на это.

Ювелир выждал некоторое время, а потом сказал:

— Я слышал о Медном городе. Один ученый муж из Иерусалима рассказывал сказки о нем. Мы полагаем, что все это воистину сказки. А теперь понимаю: мы ошиблись, а тот ученый муж говорил правду. Скажи, Халаф, какие трудности возникли у тебя у Золотых ворот? Или все сошло гладко?

— Эта моя уродина не пожалела золота.

— Не спросила — зачем оно тебе?

— А как же! Все пыталась выведать, не завелась ли у меня некая девица. На ее вопрос у меня был готов ответ: «О, госпожа, — сказал я, — нет краше тебя никого. Счастлив, что удостоен твоей милости. Можно ли жить без солнца? Так вот: ты — мое солнце». От этой грубой лести меня чуть не вырвало. Она же — эта уродина — вся разомлела. Я продолжал: «Некие молодцы обыграли меня в кости и не отдать долг — позор для любого мужчины». И я оросил ее дряблые груди росинками притворных слез, которые гнал из глаз с помощью перечного порошка. Уродина расщедрилась и велела наполнить мой карман золотыми монетами. Все это золото я оставил у Золотых ворот, ибо был схвачен двумя стражниками. Я назвал имя знакомого молодца и высыпал им в карманы горсти золота. Ворота, как по волшебству, приоткрылись. И вот — я вместе с вами.

Деметрий еще больше удивился тому, что пережил Халаф в Медном городе. Позабыв, что они сами в эти мгновения на волосок от гибели, он захохотал, представив себе состояние Халафа там, у Золотых ворот.

— О, Халаф! — возопил он, погрозив кому-то кулаком. — Неужели мы рождены, чтобы ходить по лезвию дамасского меча? Неужели нет божества, которое даровало бы нам, своим детям, немного покоя и справедливости?!

— Справедливости? — расхохотался ювелир. — Ишь, чего захотел. Дай появиться новому дню и тогда словлю зверька, чуточку заморим голод — тогда и я



кое-что расскажу. Правда, возможно не такое страшное, как Медный город, но все-таки...

— Что же ожидало тебя за воротами? — спросил Деметрий.

— Ничего! Одна пустыня.

— Разве нет в тех краях воды и зелени?

— Есть. Но для этого надо идти на восток. А мне следовало — на север, в пустыню, где только желтая смерть, может, свобода и — ничего больше! Я выпил бурдюк воды, съел весь хлеб и все сушеное мясо и встретился с вами. Вот и весь сказ.

Еврей сказал:

— Я не назначил тебе встречу в этом месте, — и хихикнул.

— И я, — сказал Деметрий.

— Где же ваше место свиданий, если не секрет? — спросил Халаф.

— Только не здесь! — Деметрий поразмыслил. — Если уж видеться, то лучше всего на Босфоре или на берегах Нила.

Ювелир дал волю своему воображению:

— Значит, так: изнуренная любовными утехами Бида, но жаждущая новых, ждет не дождется тебя, возлежа на ложе...

— ...лакомясь персидскими сладостями и йеменской дыней, которыми она подкрепляет свою плоть. Дыня в меду! Что скажете? — Деметрий причмокнул губами.

Все трое проглотили слюни, тяжело вздохнули. А ювелир продолжал:

— Значит так: приходит назначенный час свидания, а любовника все нет. Бида набирается терпения, затем теряет его и велит разыскать неверного Халафа. Но где Халаф? — Ювелир обратил лицо к луне и воскликнул: — Где Халаф? Бида вне себя. Тогда ей нашептывает одна из ее молодых наперсниц: «Надо бы сходить к Далиле». А та спит сладким сном или притворяется спящей. Врываются к Далиле, но нет Халафа! Какой-такой Халаф? Далила вне себя от такого подозрения.

Трудно сказать, что произошло в тот вечер в большом доме Биды, когда она убедилась наконец, что Халаф исчез. Может, лопнула от злости. Может, вымести-

да злобу на красивейшей из женщин — Далиле. Халаф сказал:

— Эта змея исторгает яд на окружающих. Но теперь это меня не касается. Уж лучше погибнуть в этой пустыне, чем нежиться в объятиях Биды. Пусть она пощет других любовников. Но кого от всей души жаль, так это — Далилу. Я оставил свое сердце у ее ног и не знаю, как буду жить без нее..

## ВОСПОМИНАНИЯ ДЕМЕТРИЯ-ВИЗАНТИЙЦА

Рассказчик говорил далее:

— Этот ювелир оказался мастером не только в своем деле. Трудно сказать, кем он был в действительности: ювелиром или охотником. К удивлению друзей по несчастью — приволок некоего зверя, которому еще там, за барханом, отрубил голову и лапы. Определить, что это был за зверь, теперь уже было невозможно. Разделав его по всем правилам поварского искусства, ювелир изжарил его на огне, и все трое ели мясо с удовольствием и запивали его водой, которая, хорошенько отстоявшись за ночь, походила на ключевую.

Деметрий сказал:

— Если мы еще день или два прокормимся подобным образом — наберемся сил и с богом сумеем продолжить путь.

— Истинно, — согласился с ним Халаф.

Ювелиру захотелось хлеба, мол, мясо без хлеба не имеет того вкуса, которое придает ему зерно.

— И все-таки, — сказал Деметрий, — что за зверя ты нам предложил?

— Он не понравился тебе?

— Нет, почему же...

— Так в чем же дело, молодцы? — удивился ювелир.

— Лишь бы только не гиена, — сказал византиец. — Впрочем, не будем привередливыми.

— Брат, — продолжил Деметрий, — я не то еще едал. Спасибо тебе за угощение! Что скажешь, Халаф?

— Скажу: большое спасибо! — Он вопросительно взглянул на византийца, внимательно присмотрелся к нему, будто только что увидел. — Смотрю на тебя и думаю. Но ничего путного в голове не остается. Я расска-



зал, что привело меня на грань могилы. А ты, Деметрий. Смолчишь, или?..

Деметрий замахал руками:

— Не напоминай о прошлом! Вообрази сам: чему я предпочел пустыню? От чего бежал?

Ювелир прополоскал горло и, тыча пальцем в грудь своих несчастных собеседников, отчетливо выговорил на некоем ломаном бедуинском наречии:

— Мы должны все знать... друг о друге... Мало ли что может быть... Растерзали меня волки — вы сообщите обо мне моим родным... Ну и я то же самое, значит...  
2019035940  
202201100330

— А что, Халаф? — Деметрий кивнул в сторону ювелира. — Ведь он прав. Или нет?

— Прав!.. И поэтому, Деметрий, начинай свой рассказ.

— Слушаю и повинуюсь... Ведь так говорят в Медном городе?

— Именно так, чтобы всем им сгореть!

Деметрий дождался, пока зашло солнце и установилась в пустыне некоторая прохлада. Он соорудил гримасу, как бы давая понять, что недоволен ни часом своего рождения, ни местом, где родился...

— А родился я в Константинополе. Город этот основал наш император на берегу красивейшего из проливов, называемого Босфором. Нет в том городе золотых ворот и лавок, где золото сверкает денно и ночью. Зато вдоволь кривых и узких улиц и прекрасных садов на холме, где живут в свое удовольствие наши князья. А на берегу пролива, где вода чище изумруда, стоит дворец императора, и лишь солнце видит его каждый божий день.

Мой отец был лавочник, и каморка, где уютилась наша семья, была настоящая нора. Зато хлеба было у нас вдоволь, соседи наши зарились на него. Мать моя горячо молилась иконе, а наш бог смотрел на нас добрыми глазами и обещал добро.

Когда наступила пора моего возмужания, а сердце сильнее билось при виде девиц, меня схватили солдаты нашего императора, заковали в цепи, перевезли на другой, голый берег пролива и вместе со многими моими сверстниками погнали на восток. Всех, кто хныкал от усталости или падал от изнеможения, пьяные надсмотр-

рщики били кнутами и гнали вперед. А самых нерадивых морили голодом, пока те не выпускали дух.

Была у меня на шее медная цепочка, а на цепочке — крошечная иконка. Я носил эту иконку от рождения и она сулила счастье. Так говорила мать.

Я плакал, укрыв лицо обветшавшим в пути одеянием, чтобы, не дай бог, не заметили наши бородатые мучители моих слез. Я молился богу и просил его, чтобы ниспослал он...

— погоди, — перебил его Халаф. — Ты говорил: ниспослал. Разве он наверху?

— Да, на небе.

— Там можно жить?

— Богу можно.

— А на чем он сидит?

— На золотом троне.

— А трон на чем стоит?

— На хрустальном своде.

Подивился Халаф этим словам и приготовился слушать дальше. Ювелир не спрашивал о боге — у него было свое мнение на этот счет.

— Я молил бога, чтобы придал мне силы и возможность свидеться с матерью моей, отцом и братьями и сестрами. А еще с одной девицей, которая больно занозила мое сердце. А нас гнали все вперед, вперед. В дороге мы узнали, что гонят нас в Дамаск. Там, дескать, оденут и обуют, как настоящих императорских солдат, и станем мы нести службу на благо великой Византии. Я спросил однажды сведущего парня: «Что значит на благо Византии?» Он посмеялся надо мной и сказал: «Это значит, что будем гонять, как зайцев, этих самых бедуинов». — «А зачем?» — «Так надо. Император знает лучше. Он думает за нас. Молится за нас». И тут он запустил такое ругательство, которое позволял себе только вдребезги пьяный константинополец, приплывший из дальней страны. Я перепугался насмерть: вдруг это дойдет до слуха наших истязателей? Но, слава богу, все обошлось! Я внимательно присмотрелся к моим сверстникам — многие ли из них плачут? Оказалось, что многие ходили с опухшими от слез глазами. Иные молились богу. И спрашивали друг друга: «Долго ли еще идти?»

Но кто это мог знать? И не понимали мы, почему



должны пить вонючую воду и есть грязную пищу, чтобы после нескончаемого похода воевать против каких-то бедуинов? Что они нам сделали такого? Оскорбили или убили наших близких? Почему именно бедуинов следует убивать? Но вскоре получили ответы на наши вопросы. А случилось это так.

Однажды на поляне, в стране, именуемой Каппадокией, нам всем приказали собраться и все виденное и слышанное хорошенько намотать на ус.

На середину поляны вывели одного парня, связанного по рукам и ногам. Был он бледен, немощен, а лет ему — не более двадцати.

Стали за ним два богатыря с плетями. Впрочем, вся поляна была оцеплена усатыми и бородатыми истязателями с копьями в руках и кривыми шашками на боку.

Главный начальник обратился к нам с такими словами:

— Слушай каждый, кто наделен ушами! Это к вашему же благу. Этот балбес (начальник указал на несчастного парня) вздумал умничать. Видишь ли, ему не нравится наш поход. Ему бы, оказывается, лучше сидеть под маминой юбкой. А что же станет с империей? Наплевать на нее? А как же жить? Где брать деньги, хлеб, воду, ежели мы не убережем империю? Я спрашиваю вас: где? — этот начальник чуть не лопнул от напряжения и злости. — Так мыслит этот балбес. А теперь тарашьте глаза. Это пойдет всем на пользу.

Парня мигом раздели, уложили животом на землю и принялись стегать ремнями. Его били так усердно, что крики застревали у него в горле, и вскоре потерял он сознание. Потом его окатили водой и бросили на солнце-цепеке.

Нас отпустили к своим палаткам. Мне казалось, что это не того парня, а меня избили. Душа моя плакала, металась в груди, в голове шумело от виденного и слышанного. Я спрашивал себя: что есть человек? Неужели для страдания создал его господь бог? Шел я к себе, пошатываясь. С трудом доплелся до палатки и повалился наземь. Я сжимал в руке иконку, ибо верил ей. Вокруг бродили мои сверстники, не находя себе места. Что делать? Ели мы сушеный хлеб, пили вонючую воду. А я все спрашивал себя: за что? Почему я

далеко от дома? И увижу ли я своих? О, как люблю свою маму, своих братьев! Как они там без меня? Я спросил себя: а что, если лишить себя жизни? Ведь поступают же так, кто слишком обижен и обездолен судьбой? Я искал верную дорогу и не находил ее...

## ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ДЕМЕТРИЯ

Вот слова рассказчика:

— Рекруты византийского войска оставили Каппадокию и направились далее на восток. Они шли, а за ними оставались жуткие следы: могилы с крестами. Молодые уходили в землю, не успев ее обжить по-настоящему.

Деметрий неторопливо продолжал:

— Дабы в пути подошли не все, наши начальники стали подкармливать нас, грабя ближайšie деревни и давая нам больше времени для отдыха. В конце концов добрались мы до Дамаска и стали нести воинскую службу, одетые по-военному, обутые в грубые солдатские башмаки. Я уж не буду говорить о подзатыльниках и пощечинах, которыми награждали нас сотники, озверевшие в пустынных степях. Им хорошо платил император, и они из кожи лезли вон, чтобы угодить ему и его полководцам.

Нас время от времени выводили в пустыню, где мы нападали на караваны бедуинов. Не буду, Халаф, говорить о тех злодеяниях, к которым принуждали нас именем нашего бога. Не буду, чтобы ты, дающий мне воду и нежданная опора в моем несчастье, вдруг не возненавидел меня. Но поверь мне, я старался держаться подальше от зверств и молил бога, чтобы начальство мое видело во мне скорее недотепу, которого нельзя посылать на серьезное дело, нежели ревностного солдата его императорского величества. По ночам я проливал слезы от сознания своего бессилия. Я говорил себе: у слепого Гомера в поэмах действовали боги. Они вмешивались даже в грозные стычки. А теперь? Неужели бог наш отвратил лицо свое от мирских дел и предоставил нам действовать часто вопреки его воле и его учению. А знаете, какой первейший его наказ? Запомните его: «Не убий». А что делали мы, носящие образ его на груди? Мы жгли бедуинские палатки, мы ко-



лоли детей и женщин, морили голодом стариков, обращали в рабов здоровых, юных. Так поступали мы, забыв веру, которой якобы служили и которой якобы следовали.

Меня воротило от всего этого. Неужели, спрашивал я, человек рожден для разбоя и убийств? Кому и зачем нужен этот бесплодный песок, это нещадно палящее солнце, эти барханы, в которых нет жизни. И чем больше я задавал эти вопросы, тем слабее становился я, а сердце все больше ожесточалось против всех и каждого, кто превращал меня в убийцу.

Однажды мой сотник — детина из породы безжалостных мясников и царских служак, угадав эти мои мысли, сказал наставительно и грозно:

— Парень, ты не дури! А всякую дурь выкинь из головы. Кто ты есть? Ты бесстрашный солдат его императорского величества. А еще кто? Борец за счастье византийской империи. А еще? Мой подчиненный, выполняющий приказ безоговорочно. А каков твой долг перед империей? Быть героем. Отдать за нее жизнь. А всякую там чепуху из головы — долой вон! А теперь повтори все, что ты услышал.

И я, как дурак, повторял вышесказанную и только что дошедшую до моих ушей галиматью.

Я спросил сотника:

— Не такое ли говорили сотники римской империи своим солдатам?

— Какой еще империи?

— Римской.

— Может, и говорили. А что?

— А где та империя?

— А какое мне дело до нее?

— Где ее солдаты?

— Сатана их дерит!

— А сотники?

Тут мой начальник насторожился.

— Сотник — великий человек, — сказал он. — Вся тяжесть на нем. — Вдруг он словно бы очнулся. — Ты, парень, зубы мне не заговаривай! При чем тут Римская империя и при чем храбрые наши сотники? Тебе говорят: бей бедуинов, отвоевывай земли для империи, верно служи ей. А ты про какой-то Рим!

— Не про какой-то, а про тот, который сгинул.

— Как это сгинул? — удивился сотник.

— А так! По божьему велению.



Перекрестился сотник, поглядел на меня из-под своих щетиновых бровей и сказал:

— Ты, парень, брось свои глупости. Твое дело служба! Ежели ты не поймешь этого — сожрут тебя гиены в пустыне.

И, плюнув в мою сторону, зашагал по своим делам.

С того самого разговора сотник не спускал с меня глаз. А когда ему приказали идти в пустыню с десятью отборными солдатами, он забрал с собой и меня.

«Я всажу тебе нож в спину», — пригрозил я про себя. Но все это всуе. Ибо мне хотелось жить и хотя бы одним глазом когда-нибудь увидеть своих родных, увидеть — и умереть в Константинополе, на пороге нашей развалюхи.

Вышли мы на рассвете, — не шагали, а бежали. И добежали мы так до некоего оазиса, где уже кипел бой между нашими и бедуинами. Мы, стало быть, явились на подмогу. И многие еще отборные солдаты из других сотен.

Доложу вам: это была рубка! Бедуины яростно защищали своих жен и детей. Наши окружили их, ибо превосходили количеством. Вдруг на меня кинулись двое молодых. Может, из твоего племени, Халаф. У них были шашки, у меня — пика, подобранная на поле боя.

Если бы бедуины знали мои истинные мысли! Если бы они знали, что не нужны мне ни их жизни, ни их скарб, ни их песчаная земля! Нет, они не знали этого и не могли знать. Они храбро бились.

Так сражались мы и меня понемногу оттеснили к бархану. Мне не хотелось убивать тех парней, я лишь не подпускал их к себе. Между тем ко мне прибежали на помощь и я отвернулся, когда увидел, как двое бедуинов-юнцов были подняты на копыя. И скрылся за барханом, упал на землю и оросил ее слезами. Там меня нашли и приволокли к сотнику.

Он восседал на барабане, поглаживал брови за неимением усов и сказал мне:

— Оказывается, ты молодец...

Я молчал, плохо соображая, о чем это он.

— Ты, парень, один бился против двоих. Тебя те-



снили, но ты не сдавался. Так поступает храбрый солдат доблестной византийской армии.

Я потупил глаза от собственного стыда и его бесстыдства.

— Ребята, — обратился сотник к моим товарищам, — вот вам пример доблести и геройства. Все ли видели, как бился он?

— Все, — ответствовали хором даже те, которые ничего не видели.

— Я представляю тебя к большой награде. Это будет медный крест, который ты получишь из рук самого Полководца.

Этот Полководец, именем которого часто клялись, жил посреди роскошного сада на краю Дамаска. Говорили, что он храбр. Говорили, что если бы жил Гомер в наше время, то непременно сложил бы о нем прекрасную поэму наподобие «Одиссеи». Я до сих пор так и не уразумел, в чем заключалась его храбрость. Все говорили шепотом, что над их телами выросли новые барханы, что якобы этот Полководец лично вел против бедуинов этих парней и одержал великую победу. Но я так и не смог дознаться: ведь ежели одержана великая победа, то почему все новые полки и сотни уходят в пустыню и не возвращаются оттуда.

Когда мы, нахлебавшись вонючего питья из бурдюков, вернулись в свои казармы — многих не досчитались. Я похоронил в песках двух моих лучших друзей — тоже константинопольцев — и осиротел. В свободное от воинских учений время, я садился под деревом или уходил в укромное место, где предавался грустным мыслям. Самое удивительное состояло в том, что не мог постичь истину: зачем я живу? Я ломал себе голову, но чем больше думал — тем тревожнее становилось на душе. Вскоре и само солнце показалось черным, и луна, и звезды почернели для меня.

Некий парень из нашей сотни подошел однажды ко мне и спросил эдак нагло:

— Грустишь?

— Может быть.

— Ну и дурак!

— За что ругаешь? Я же ничего дурного не сделал тебе?

— Дурак — и все!

Он был постарше меня, звали его Евмен и видом своим походил на сатану — есть у нас такое безобразное чудище.

— А все-таки, почему я дурак?

— Раз. Считай на пальцах! Раз! Ты не куришь некую индийскую траву. Два! У тебя нет девицы, развлекающей весьма умеючи и вышибающей дурь из головы почище нашего сотника. Три! Ты слишком много работы доставляешь своей дурной голове. Это ни к чему. Довольно всего этого?

— Пожалуй, — сказал я. — Может, я и на самом деле дурак. Но как поумнеть?

Евмен ухмыльнулся:

— Сказать?

— Скажи.

— Совета моего послушаешься?

— Не знаю.

— Ладно, Деметрий, в это воскресенье, если бог даст, отпустят нас в Дамаск и я покажу тебе нечто, ради чего стоит жить. Потому что жизнь — это чепуха!

— Как так?

— Очень просто: че-пу-ха! В один прекрасный день нас с тобой заруют в песок и мы полетим на небеса, где ждут не дождутся нас ангелы. Вот, что такое жизнь. Но можно из этой дурацкой жизни еще вышибить кое-что приятное.

На моем лице, как полагаю, изобразилось недоверие.

— Не веришь? — сказал Евмен, смеясь. — Сходим в Дамаск и тут же поверишь. Если только доверишься мне и не станешь упираться, как бык, которого ведут на живодерню.

Я подумал-подумал и ответил Евмену так:

— То, что ты говоришь, немного удивительно. Но считай, что доверяю тебе полностью.

## О ТОМ, ЧТО БЫЛО В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Рассказчик продолжал:

— Деметрий, казалось, был в ударе, ему хотелось поскорее освободиться от теснивших его грудь воспоминаний и, видя, что бедуин и еврей слушают его с должным вниманием, поведал о следующем:



— Привел меня Евмен в один дом. По узкой во-  
ночей улице.

— Здесь хорошо, — шепнул Евмен, пытаюсь под-  
бодрить меня. — А будет еще лучше.

Наконец он постучался в крепкие ворота, и мы  
услышали неистовый собачий лай. Казалось, целая  
свора готовилась растерзать нас.

Чей-то высокий голос спросил:

— Кто? Назови имя свое.

— Евмен, — отвечивал мой спутник.

Загремели засовы, собак, видимо, отогнали, и мы  
протиснулись в узенькую калитку. Хотя уж и сумерки  
опустились, но я точно определил, кто именно встретил  
нас.

— Евнух? — шепнул я Евмену.

— Да.

— Хозяин?

— Нет. Раб.

Мы очутились в благоуханном саду, на дорожке,  
посыпанной песком и местами покрытой вавилонской  
смолой. Евмен уверенно шагал за евнухом. «Куда по-  
девались собаки?» — думал я. Это было удивительно:  
судя по лаю за воротами, нас поджидали драконы и  
вдруг вокруг воцарилась тишина.

Мы поднялись на некое каменное крыльцо, разу-  
лись, и раб пропустил нас в просторную комнату.

— Елена! — воскликнул Евмен и обнял грудастую  
толстуху, которая выказала ему знаки доброго внима-  
ния: она чмокнула в губы Евмена, похлопала по спине.

— А это мой верный друг, — сказал Евмен, под-  
толкнув меня к Елене. Та, недолго думая, тоже обня-  
ла меня и угостила смачным поцелуем.

— Я всегда рада молодым и красивым, — пропе-  
ла Елена.

При свете масляных светильников я дал ей не мень-  
ше пятидесяти лет. Так что мы годились ей в сыновья.  
У нее были голубые глаза, яркие, напояженные щеки  
и волосы, причесанные на манер греческих богинь вре-  
мен Гомера. Одежда ее состояла из легкого, цветасто-  
го платья, наброшенного на тучное тело.

— Елена, — сказал Евмен, — закрой глаза и вы-  
тяни руки.

Она охотно это исполнила.

Евмен высыпал ей, как видно, привычным манером горсть монет — нашу многомесячную получку и кивнул мне. И я проделал то же самое.

— А теперь, Елена, погляди в свои милые ладошки.

Елена открыла глаза и сделала вид, что не верит им.

— Ой, ой! — воскликнула она. — Опять подарки!

Она их высыпала в деревянную шкатулку и, повиснув на наших воловьих шеях, прошептала:

— У меня для вас заготовлено особенное... Да, да! Вы мне скажете не только «спасибо», но и пальчики мои оближете...

Она вела себя, словно молоденькая девица, и мне сделалось нехорошо. Когда молодится совсем немолодая женщина — мне это не по душе. Между тем Евмен повел себя самым противоположным образом. Он опустился перед ней на колени, облобызал ее пальцы и добрался до ног. Елена хохоча вытянула ноги и мой Евмен припал поочередно к одному и другому колену.

Умиленная Елена провела нас в следующую комнату, и я к своему удивлению увидел на низких ложах двух полунагих девиц.

— Наступил час любви! — объявила Елена и поднесла нам красивой выделки глиняные чаши с вином. Такие чаши оказались и у девиц.

— Выбирайте, — мило предложила Елена.

— Обе хороши, — сказал Евмен.

Мне досталась рыжеволосая тоненькая Ника. Ножки ее были — ножки княжны, и ручки — прозрачные, пальцы тонкие и длинные, как у девушек, играющих на лире.

— Мальчики, — обратилась к нам Елена, — не обижайтесь: я оставляю вас на время, позабавьтесь, как можете. Учтите: будьте достойны моих девочек. А не то надеру уши.

Она почему-то, говоря это, смотрела на меня. «Она уверена в Евмене», — подумал я. Ника была слишком хороша, и я пробормотал нечто невразумительное, мол, будь спокойна, Елена, не подведу я тебя.

Евмен уже приступил к делу после быстрого омоления ароматной, зеленого цвета водой: он улегся на ложе, а подруга Ники, хохоча и размахивая руками, взобралась на него.



Я забился в угол и глядел в сторону. Но ненадолго. Потому что потянула прекрасная Ника меня в дальний, затемненный угол и преподала такой урок любви, от которого я чуть с ума не сошел...

На этом месте Халаф прервал Деметрия. Он спросил:

— Что значит — чуть не сошел с ума.

— Что? — Деметрий задумался. — Значит, так искусна была в любви эта самая Ника.

— И это все, что ты хочешь рассказать о страстной Нике?

— Что же еще?

Халаф все приставал:

— А все-таки, Деметрий, что значит эти твои «чуть не сошел с ума?»

— Я такого никогда... Как бы это сказать?

— Так открой же секрет! Не будь монахом!

Подумал, подумал Деметрий и сказал:

— Поиграв со мной, как кошка с мышкой, и испытав мои достоинства, она заявила, что я еще совсем зеленый, и поклялась, что сделает из меня настоящего мужчину. Затем она приступила к ласкам, от которых я чуть не сошел с ума...

— Опять сошел с ума! — Халаф хлопнул себя ладонью по лбу. — Ладно, друг, продолжай, ты, я вижу, все же хочешь немножко походить на монаха.

Деметрий продолжал рассказ в меру своих способностей.

— Уразумел? — спросила меня Ника, едва переводя дыхание и освежая меня и себя прохладным вином. — Я думаю, что мой урок не без пользы для тебя. — И она рассмеялась низким, грудным смехом, который до сих пор в моих ушах.

Бесстыдный Евмен приполз к нашему ложу в чем мать родила.

— Ну как, Деметрий? — нагло поинтересовался он. За меня ответила Ника, такая же нагловатая, как и Евмен..

— Спасибо за твоего друга, скоро он станет настоящим быком.



— Поздравляю тебя, Деметрий!

Я попытался прикрыть свою наготу, на что Ника заметила:

— Ничего, ничего, привыкнешь, — и ущипнула меня за ягодицу.

Евмен сказал:

— Иди за мною.

— Куда?

— В ту дверь.

— В эдаком виде?

Ника подтолкнула меня, приговаривая: «Тебе будет хорошо!»

В соседней комнате было темнее, чем в Никиной. Я едва заметил Елену, которая протягивала нам два болотных тростника, на конце которых были насажены глиняные курильницы. Евмен жадно выхватил курильницу. Затянувшись, он улегся на жесткое деревянное ложе.

— Кури, Деметрий, — посоветовал Евмен.

Последовав его примеру, я почувствовал странное першение в горле и закашлялся так, что содрогнулись стены.

— Это добрый знак, — успокоила Елена и покинула нас.

Вскоре какой-то дурман ударил мне в голову, меня чуть не одолела тошнота.

— Это пройдет, — успокоил Евмен.

И все получилось так, как он говорил. Не знаю, сколько мы лежали в этой курильне. Меня растолкал Евмен, я оделся наспех и знакомый евнух проводил нас до ворот.

Очутившись на уже знакомой вонючей улице, спросил Евмена:

— Где же Ника? Где Елена?

Он хлопнул меня по плечу.

— Скоро свидимся вновь. Ты доволен?

Хоть и чувствовал я тяжесть в голове и слабость в ногах, решительно заявил:

— Да, доволен.

Ника уже была в моем сердце.



Рассказчик сказал:

— По мере того, как догорал костер в пустыне, трое собирали сухие веточки и вновь приятный огонь начинал соперничать красотой своей с луной и звездами. А Деметрий говорил так:

— Остался позади год. И еще один год. Нашу сотню бросали в пустыню, как этот хворост в костер. Хворост горит и сгорает. А мы горели и не сгорали — оттого наши мучения казались нескончаемыми. Мой сотник не спускал с меня глаз, чтобы ему вечно гореть в аду! Где самая большая опасность — туда посылал меня. Но мне везло. Бедуинские стрелы не брали меня. И копья их пролетали мимо. Змеи жалили моих друзей и могилы погибших солдат спустя день уже никого не волновали. А император возлежал в своих дворцовых покоях со своими женами и снова посылал молодых людей на убой в далекую Аравию.

Однажды, когда наша сотня заночевала в пустыне возле крошечного оазиса, подходит ко мне сотник и приказывает:

— Выйди из палатки!

Я подчинился. Лицо у сотника было словно из камня, серого и твердого. В глазах его я усмотрел зловещие огоньки.

— Пойдем туда!

Солдат есть солдат: идти так идти! И тут за его палаткой, куда он завел меня, набросились на меня двое дюжих солдат и в мгновение ока заломили руки за спину и прочно связали веревкой. Это было вроде грома среди ясного неба...

— Что такое? — пробормотал я.

В ответ сотник треснул меня по лицу своим кулачищем. У меня искры из глаз посыпались, теплые струи крови полились из носа.

— Я же Деметрий! — закричал я, полагая, что произошла какая-то ошибка.

— Ах, Деметрий?! — и новый удар свалил меня наземь и все трое нещадно принялись топтать меня башмачищами. Меня били, а я вопрошал: «В чем же дело?!»

— Вот в этом! — говорили истязатели, продолжая

топтать меня подобно бешеным буйволам. Я требовал объяснений и чем громче требовал, тем сильнее тем неистовее били меня. Наконец потерял я сознание. А когда пришел в себя, усадили меня на песок, а сотник сказал:

— Ну вот, Деметрий, теперь шевели языком...

Однако губы мои распухли, лицо в крови и шевелить языком было не в состоянии. Плеснули мне в лицо воды. Сотник сказал:

— А теперь отвечай: что ты болтал про его величество?

Я поразился: когда болтал? О чем?

— Парень, шевели мозгами, да побыстрее. У меня припасен хороший прут.

Один из его подручных пошпынял меня тем прутом.

— Что вам от меня надо? — простонал я.

— Что ты болтал вчера?

Я напряг память, которую изрядно отшибли, однако ничего такого, за что бьют, припомнить не мог...

— Не можешь? — После крепкой затрещины сотник произнес следующее: — «Чего это мы потеряли в этой пустыне? Что плохого учинили нам бедуины? Когда же конец этому аду? А этот сидит себе в Константинополе и бог весть чем занят. А мы должныдохнуть». Это не твои грязные слова, Деметрий? Ну?!

— Дайте воды, — взмолился я. — Может, вспомню что-нибудь.

— Влейте этой собаке в горло все ведро! — приказал подручным сотник.

Я стал думать. Думал, думал и додумал: верно, вчера был такой разговор. Может, не совсем такой, но немного похожий. Говорил не я, а один парень по имени Елефтерий, фракиец.

— А ты все это слышал?

— Я же не глухой.

— Та-ак. Что же еще болтал? Шевели, шевели мозгой! «Да,дохнем здесь, а в Константинополе во дворце пьют шербет и ласкают юных жен». Твои слова?

— Нет! — сказал я. — Нет! И еще раз нет!

— А чьи? И что ты возразил, слыша эту гнусную клевету? Говори же, собака! Ты заставил его замолчать?

Я соврал:



— Да. Молчи, сказал я.

— Тащите его туда! — сказал сотник. И меня поволокли к ближайшему бархану, втащили на него и спустились вниз по крутому склону. При свете луны я увидел яму. В ней кто-то лежал: «Мертвец», — подумал я. Но кто-то застонал и зашевелился в яме. «Все это во сне, — подумал я. — Ведь не может быть такого на свете. А знает ли обо всем этом его величество? Наверное, нет. А иначе кусок не шел бы ему в горло и поцелуй любимой жены был бы не поцелуй, а укус змеи».

Сотник злорадно прохрипел:

— Видишь? — это тот самый болтун. А ты — его сообщник.

— Нет! — и, взмолясь, упал на колени и целовал колени сотника.

— Засыпьте его, — приказал сотник. И его подручные засыпали живьем несчастного Елефтерия. — Так будет со всяким, кому не нравится жизнь в этой пустыне и приказы его величества.

Дальше и не помню, что было. И сколько времени продолжалось мое небытие — тоже не помню. В голове застряли слова: «Смотри не заикнись о том, что видел и слышал. А то сам попадешь в такую же яму!»

Когда взошло солнце, дополз я до своей палатки. Солдаты удивились: что стряслось? «Я боролся с гиеной», — ответил я, исполняя приказ сотника.

Вместе с солнцем появился у палатки сам сотник и те двое его подручных.

— Солдат, — весело обратился ко мне сотник. — Что с тобой? Кто тебя так разукрасил?

— Он дрался с гиеной, — объяснили мои друзья.

— Да? — сотник вошел в палатку, подивился моему виду, похвалил за храбрость. — Солдат, я доложу начальству о твоём подвиге. Но впредь не суйся к гиенам. Они очень злые. Благодарю бога, что цел. Иконка твоя при тебе?

Я что-то прошептал...

— Поцелуй ее, поблагодари бога.

И сотник исчез, пока я целовал иконку и произносил благодарственную молитву распухшим языком, который не умещался во рту.

Вскоре прислали хороший завтрак со стола самого

190755941  
190755941

сотника. Но я разве мог есть? Им насытились мои товарищи. Они очень любопытствовали, как это я боролся с гиенами, как не поддался им, как вышел живым из драки, хотя и помятый изрядно?

— Эти гиены дубасили тебя палками? — поинтересовался один из солдат.

— А что? — спросил его другой.

— Больно много синяков и мало царапин.

Я приподнялся на руках, собрался с силою и сказал так:

— Эй, парни... Побойтесь бога, прикусите языки... Это моя большая просьба... Вы поняли?

Несмышлелыши удивились:

— В чем дело, Деметрий?

— Я же сказал: прикусите язык!

— Разве мы оскорбили тебя?

— Я же сказал: прикусите язык?

Самый любопытный не унимался:

— Нет, в самом деле, где царапины? Разве гиены не рвут мясо, разве нет у них когтей?

Этот солдат был молод и не очень понимал, в каком мире живет. Правда, и я был молод, но за ночь враз поумнел.

— Парни... — У меня чуть прорезался голос. — У меня раскалывается голова... Парни, вы слышите меня?.. Мне очень, очень тяжело. Может, я умру. Не верите, что дрался с гиенами? Ну, тогда так: бился с одним, который позарился на мою девушку... Это вас устраивает?

— Позарился на девушку? — удивился любопытный.

— Да. На любимую.

— И он так тебя отделал?

— Как видишь.

— А что же с ним?

— Он на том свете.

— Жаль его.

— А меня?

— И тебя тоже.

Лег я ничком и заплакал. Рыдал так, что нельзя было успокоить меня. Не из-за побоев! А из-за вранья, которым угощал своих товарищей.



## ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ДЕМЕТРИЯ

— Я лежал в палатке и понемногу отходил, как раненый зверь. И знаете о ком думал? Да, о ней, о Нике. Признался в этом Евмену. Он сказал:

— Деметрий, ты будешь жить. — Склонился надо мной Евмен низко-низко и спросил: — Что же все-таки было?

Я испугался и выдавил из себя:

— Лиходеи были беспощадны...

— Трус, — беззлобно сказал Евмен, — из-за таких, как ты, страдаем все мы. Я же не выдам тебя. Кто все-таки отделал тебя?

— Нет, — стоял я на своем, — это была просто драка.

Посмотрел на меня Евмен, как на скользкого ужа, но промолчал. Ни слова не проронил, словно ничего и не случилось. Затем смочил тряпку в воде, выжал ее и положил мне на лоб и на лицо, которое пылало огнем.

— Значит, вспомнил о Нике?

Я кивнул.

— Хочешь прекрасное лекарство, которое живо возвратит тебе и силу, и здоровье?

Я кивнул.

— И радости принесет немало...

Я снова кивнул.

— Мужайся, Деметрий. Возьми себя в руки. Забудь о драке. Нас ждут у Елены. Тебя ждет Ника.

— Меня же придавил слон.

— А ты плюнь на него. Скажи себе: я здоров! Повтори это сто раз.

— И я буду здоров?

— Поспорим?

И мы поспорили. Евмен сказал:

— Я подожду снаружи. На луну полюбуюсь. А ты повторяй...

Послушался я. Стал загибать пальцы и шептать: «Я здоров!» А перед глазами у меня стояла живая Ника.

Вошел Евмен:

— Ну, как, Деметрий?

— Может, ты удивишься, а может — нет: я чувствую себя лучше.

— Теперь попробуй вот это. — И он сунул мне под нос чашу. Что-то едкое ударило в нос и я чихнул.

— Чудак, — сказал Евмен, — ты чихаешь вместо того, чтобы сделать хороший глоток? Смотри, оставь и мне.

Я выпил. Огонь пронзил мою грудь, дрогнуло сердце и я сказал:

— Спасибо тебе, Евмен.

Я и в самом деле почувствовал себя лучше.

— Где солдаты, Евмен?

— Они ужинают.

— А ты?

— Как видишь — с тобой.

— Ты верный друг, Евмен.

Он замотал головой. Пробормотал что-то невнятное. Уперся подбородком в свои кулачищи, которые росли, словно арбузы на мощных ручищах, а ручища те покоились на ногах, подобных стволам акаций. Евмен высказал такую мысль: дескать, человек живет один раз. У него всего одна-единственная жизнь. Он раздвинул края палатки и показал луну, сиявшую одиноко на небе. Мол, такова и жизнь: одна во всем поднебесье! Но, продолжал свою мысль Евмен, жизнь не такая яркая, как луна. Может, у императора яркая. У его приближенных — тоже. А все прочие мучаются от рождения. До самой смерти. Жизнь человека ничего не стоит. Это жизнь червяка...

Евмен плюнул и растер плевков башмаком. И сказал так:

— Вот это и есть наша жизнь. Разумеется, она могла быть и получше. Но нет же! Не дают проклятые вздохнуть свободно и пожить спокойно. Послушай, Деметрий: ты что-нибудь смыслишь в этой абракадабре? Я, например, нет. Лучше пойду покурю Еленин дурман — на душе легче станет.

Он вышел сутулясь, а я остался со своими болячками. Я не очень понимал, к чему клонит Евмен. Помоему он чего-то не договаривал..

Горше всего было ощущение полной беспомощности перед лицом зла. Кто я? Зачем рожден? Почему терплю издевательства в далекой чужой земле, ежедневно подвергаясь ужасам бессмысленной смерти и тому же подвергая других? Я мог бы убить сотника—



так был зол на него. А потом? Погибать ради этой скотины? А ежели нет — значит, сносить притеснения, обиды, побои? И сколько времени сносить? Год, два, три, четыре, вечно?

Я лежал в душной палатке и плакал. Мне хотелось, чтобы мама приложила ко лбу свою ладонь — это всегда помогало от любой болячки. Но где там?! Она далеко и тоже, наверное, проливает слезы. Я посылал домой письма через купцов, но доходили они? Что думают дома обо мне? Я знал одно: помочь они не могут ничем! Над нами властвовал бог, а еще сильнее — власть императора. Он может все. А бог? Он сочувствует нам. С высоты этих небес. Только и всего...

Прошло много дней, прежде чем предстал я перед Никой. Она не поверила моим заверениям, что болел. Она твердила:

— У тебя есть другая...

Тогда я рассказал ей все, что случилось со мной, взяв с нее самую страшную клятву, чтобы она не болталась... А иначе — мне конец! И добавил:

— Теперь я весь в твоей власти.

Она посмотрела на меня своими бездонными глазами. Долго, долго не сводила их с меня. Потом произнесла:

— Какой ты еще маленький.

Я обиделся. Что это значит? Маленький—глупый? Я надулся. Замолчал. Носом уткнулся в постель. Она снисходительно потрепала меня за волосы и сказала:

— А я думала, что кое-что знаешь в жизни. Ведь ты не откуда-нибудь, но из самой столицы. Разве вокруг тебя не было разговоров?

— О чем?

— Как тебе сказать, Деметрий? Есть у императора один страшный помощник. Может, их двое, а то и трое. Есть у них — тюрьма, точнее, подземелье. В каждом городе. Там гноят людей. И похлеще, чем ты, молодцов. Настоящих богатырей, которые возомнили себя людьми и желают жить и мыслить по-людски. Ты знаешь, чего больше всего страшится император?

— Силы?

— Нет.

— Войны?

— Нет.



— Молнии и грома?

— Нет, нет, нет! — Ника прильнула губами к моему уху и эдаким дьявольским шепотом произнесла: — Языка!

— То есть, как это — языка? — Я был поражен.

— Да, языка. Одна у него забота: чтобы поменьше болтали. Ведь досталось тебе именно за это. Верно ведь?

— Пожалуй, — проямлил я, совершенно убитый. Ника спросила:

— Ты можешь держать язык за зубами? Что бы ни видел, что бы ни услышал.

— Значит, так надо?

— Да, только так! Иначе — погибель тебе. И ни слова нашей Елене. Слышишь? Ни слова!

Я был уничтожен. Оказывается, я даже не муравей. И даже не червяк. Пылинка — вот что!

## В ПОГОНЕ ЗА ЖИЗНЬЮ

Рассказчик продолжал:

— Десять лет воевал Деметрий в печальной, безводной степи. Одного сотника судьба поменяла на другого, и та же судьба — другого на третьего. Евмена же судьба хранила — он в битвах отделялся небольшими ранами. Так же, как и Деметрий.

— Мне жить хочется, а не умирать, — ответил Евмен, когда его спрашивали: «Каким образом ты ухитряешься обводить вокруг пальца смерть?» Но это была шутка. А на самом деле Евмен не лез на рожон, всяческими ухищрениями надувал врага и побеждал его.

Появился еще один друг. Леон было его имя. Его привезли откуда-то с берегов Дуная. Это был худенький, большеглазый парень, который содрогнулся, впервые увидев пустыню.

— Что это? — спросил он испуганно.

— Песок, — очень просто объяснил Евмен.

— Он настолько заматерел в этой огромной пустыне, что стал походить на боевого верблюда, — говорил Деметрий.

— Впрочем, и я сильно изменился. Мне об этом сказала Ника. И тут же спросила: «А я?»

Я любил ее первой беззаветной любовью. Я был





раб ее. И выложил все, что думал о ней и о себе. Без обиняков.

Она нахмурила лоб.

— Деметрий, — проговорила она в задумчивости, — все имеет свой конец.

Тут я вздрогнул.

— Да, да, — сказала она, положив свои невероятные красивые руки мне на колени. — Подумай сам: разница в возрасте на десять лет не в пользу женщины, мой милый. У меня к тебе почти материнское чувство...

Я запротестовал, замахал руками.

— Не сердись, — остановила меня, — у нас с Еленой был разговор... о тебе... Слушай меня: есть одна девушка... Это майский цветок. Это заря на исходе ночи...

— Нет! — вскричал я, но она зажала мне рот своими ладонями.

— Деметрий, приходи в конце этой недели, лучше без Евмена. И без Леона. Так надо. Ты увидишь этот майский цветок и будешь мне благодарен... знай еще, — вдруг ее голос зазвучал сердито, — появился у меня друг, богатый купец. Ведь ты же не единственный...

Что сказать вам? Стала моей любовницей молоденькая Лидия, которая вначале стеснялась брать золото. Однако с ней поговорила Ника, и Лидия сначала стыдливо, но потом все уверенней бросала монеты в свой бархатный мешочек.

Мне кажется, что Ника преподала еще несколько уроков Лидии и та достигла совершенства на любовном поприще. Да, друзья мои, Лидия скрасила мою жизнь, если только можно скрасить жизнь смертника, которого бог щадит до поры, до времени.

И я вскоре признался ей:

— Лидия, жизнь моя, ты вытащила меня из погребельного водоворота. Ты заменила Нику, причем с таким искусством, что приводишь меня в величайшее изумление.

Она слушала меня с подобающим ее возрасту почтением — я же намного был старше ее.

Я как-то сказал ей:

— А не пожениться ли нам?

Она, казалось, не расслышала меня.

- Ты глуха, Лидия?
- Нет. Просто я думаю.
- Что же ты думаешь?
- Я бы этого не хотела.
- Почему?

— Выйти замуж? В семнадцать лет? И... — Она запнулась. Но я угадал ее мысль: «И за кого же? За солдата пустыни?»

— Ладно, — сказал я снисходительно. — Отложим этот разговор. Я понимаю, что решающее слово за Никой.

Она покачала головой:

— Ее нет в Дамаске.

— Как?! — Видно воскликнул я так громко, что вошла Елена.

— Что здесь происходит? — спросила она, не в силах скрыть тревоги.

— Ничего, — сказал я.

Она строго посмотрела на Лидию:

— А ты что скажешь?

Та мигом все выболтала:

— Деметрий предложил выйти за него замуж.

— Он хочет жениться на тебе?

— Так он сказал...

Елена размякла, подняла бокал с вином:

— Дети мои, отложите этот разговор. Вы еще недостаточно знаете друг друга. Не торопитесь.

Моя жизнь неожиданно приняла крутой поворот: нашу сотню послали в поход — в глубину этой Аравийской пустыни. Я даже не успел проститься с Лидией — молния судьбы ударила, как меч.

На рассвете нас разбудил зычный трубный глас. Повскакали мы с мест, выстроились и — замаршировали. Куда? В пустыню. Когда вернемся? Не говорят. Ясно одно: будет битва. С бедуинами. За нами тянулись повозки с едой и водою. Они часто отставали и мы ложились спать изнуренные, голодные, жаждущие хотя бы капельки воды.

Так продолжалось много дней. И мы спрашивали себя: сколько может тянуться этот ад? По ночам, в часы редкой прохлады и короткого сна — я мыслями был далеко отсюда, в Константинополе. Явственно видел всю нашу семью. Мать, поседевшая от горя, гла-



дила мне волосы, и я млею от счастья. Отец чего-то хмурился — может, не ладилось с торговлишкой. Братья и сестры глядели на меня с удивлением и любопытством. Возможно, это был сон, чудесный сон!

Я сказал Евмену:

— Это конец?

Он усмехнулся и ответил:

— Похоже. Не хочешь ли выкурить этого?

Протянул мне то самое курево, но я отказался.

— Не дури, — сказал Евмен, — может, это последнее удовольствие. Может, Ники или Лидии больше никогда не будет. А мы станем жертвами диких зверей. Ты только посмотри — где мы?

Я медленно обернулся вокруг себя и увидел невыразимо далекую даль, однообразную, словно огромная глиняная тарелка. Один бархан громоздился на другой — и так до самого края небесного свода.

Леон сказал:

— Дай мне, Евмен, твое курево, может, оно заменит глоток воды.

— Не заменит, — буркнул я.

— Вы тут не очень галдите, — посуровел Евмен, — не одни здесь. Охотников до курева много. Курят и молчат. А вы — галдите. Тоже мне вояки! Перед смертью всегда приятно покурить. Невольно вспомнишь прекрасную Елену и ее девочек. Разве нет?

— Не знаю, — сказал я. — Но понимаю одно: мы надолго застряли в этих песках.

— Поздно поумнел, Деметрий. И с этими колючками тоже подружился. Может, навеки.

По-нашему начиналась весна, а по-пустынному — стоял конец зимы. Пески и в самом деле слегка позеленели. Это была зеленовато-бурая зелень. Кусты ожили, при желании это можно было принять за цветение.

По отряду прошел слух, что недалеко в каком-то вади — высохшем русле реки, — нашли воду. Следовало отрядить туда солдат с флягами.

— Слава богу, — сказал Леон, который истово затыгивался. Глаза у него нездорово блестели, зубы осклалились.

— Довольно тебе, — посоветовал я, — потому что человек после этого уже не человек. Вдруг нагрянут.

— Кто? — спросил Евмен.



— Бедуины.

— Ох-хо! — засмеялся он. — Они дураки, что ли?

Зачем им лезть сюда? Мы сами подохнем.

— А вдруг нагрянут?

— Чепуха!

— Нагрянут! — почему-то заупрямился я. — Нагрянут!

— Не каркай ты, дурацкий ворон! — рассердился Евмен.

А Леону все было одно: нагрянут, не нагрянут. Он блаженствовал. Курил и блаженствовал.

И я оказался прав: лунной ночью мы увидели над своими головами стадо разъяренных верблюдов. Все опешили. А ведь на верблюдах — бедуины, и все они со стрелами и копьями, и с мечами.

Словом, захватили нас бедуины врасплох, топтали нас, рубили головы.

Я увидел возле себя бездыханного Евмена. И Леона тоже: у него кровь хлестала из живота. Я сказал себе: бог посылает тебе единственную возможность попытаться сохранить себе жизнь.

И в погоне за жизнью, не зная даже к чему она, я пополз к ближайшему бархану, перевалил через него, потом через второй и так без конца.

Словом, оказался я с вами. У этого прекрасного колдунца, под этой прекрасной луной, у этого костра...

Вот и весь мой рассказ. Халаф, нет в нем Медного города, но поверь: моя жизнь под сапогами наших сотников стоит рабской жизни в Медном городе.

## ЛУННАЯ НОЧЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рассказчик, наслышанный о многом и весьма начитанный, говорил:

— Трое друзей по несчастью, подбрасывая хворосту в костер, продолжали разговор. Вода и жареная дичь подкрепили их силы, и каждый из них, полагаясь на себя и своего бога, думал теперь больше о жизни, чем о смерти.

— Разреши мне задать один вопрос, — сказал еврей-ювелир.

— Хоть два, — ответил Деметрий.

— Какой веры были твои начальники?



— Начальники-изверги, что ли? Разумеется, моей, христианской.

— Я слышал, что бог ваш призывает к милости. Деметрий обратил лицо к Халафу:

— Послушай, Халаф: этот наш друг, по-моему, спятил. При чем здесь бог? Наш бог — император, а его наместник — сотник. Его сапог посильнее ангелов и божьей милости.

— Что я слышу? — воскликнул ювелир, и его выкрик посреди пустыни был и смешон, и загадочен. — Сапог и ангел! Ведь это же настоящее богохульство!

У этого еврея от непонятого волнения тряслась борода и подергивались усы. А отчего волноваться? Что, собственно говоря, особенного в рассказе Деметрия-византийца? Разве единоверцы все равно что единомышленники?

Удивительное дело: среди пустынной ночи трое полуголодных людей, жизнь которых на волоске от смерти, ведут не очень понятный разговор, понемногу перешедший в философский. Можно подумать, что все это происходит не среди барханов, а на древней Афинской агорé — городском рынке — собрались мудрецы...

Халаф сказал так:

— Саул прав: тебя пинают, тебя избивают, тебя презирают единоверцы. Как это понимать? Когда ваш император отвоевывает нашу землю клочок за клочком — все ясно: он другой веры. Когда он ради земли убивает бедуинов — все ясно: он другой веры, он презирает наших богов. Но как понимать вот это самое: тебя губит твой же единоведец, поклоняющийся твоему же богу? А? Тут есть над чем поломать голову.

Саул прибавил несколько слов к словам бедуина:

— Разве любовь к ближнему не от вашего бога? Разве милосердие — не от вашего бога? Так за чем же стало дело?

В голосе ювелира послышалась чуточку насмешливая нотка. Было нечто такое, что озадачивало византийца. «Сердиться или продолжать разговор?» — спросил Деметрий себя...

А Халаф продолжал рассуждать, подбрасывая хворосту в костер:

— Допустим так: попал я в лапы вашего императора. Ему есть за что сердиться на меня: я стою на его

пути, я поклоняюсь другим богам. А за что же отделять тебя, Деметрий? За что?

Деметрий раскачивался из стороны в сторону, поджав под себя ноги. Он что-то обдумывал. Возможно, свой ответ, а возможно, нечто большее, скажем, философское миропонимание и понимание слова «единоверец». Между тем бедуин и еврей все рассуждали о несчастном Деметрии — тяжелых испытаниях, выпавших на его долю.

— Послушай, Халаф! — вдруг вспыхнул Деметрий. — Ты чего морочишь мне голову! При чем здесь вера?! Меня обдуманно, неустанно убивали мои же земляки. Не бедуины, но мои земляки! Что же вы спотыкаетесь на ровном месте? По-моему, все яснее ясного...

— Погляди на него! — Халаф расхохотался. — Нет ничего ясного в поступках твоего начальства. Прожженные негодяи истязали тебя и загнали сюда, к этому колдуну в песках...

Деметрий прервал его:

— Вы что — решили поиздеваться надо мной? Халаф, ты же сам рассказывал о том, как чуть не погубили тебя в Медном городе. Каким же богам поклонялись твои истязатели?

— Этого я не знаю, — ответил Халаф.

— Прекрасно! А на каком языке изъяснялись они с тобой?

— На моем.

— Значит, и они бедуины?

— Возможно, оседлые бедуины.

Деметрий злорадно улыбнулся:

— Отчего же твои единоплеменные жители Медного города, говорящие с тобой на одном языке и имеющие одни с тобою корни, не проявили к тебе снисхождения, но мигом обратили в раба?

Настал час задуматься Халафу. Он глядел на жалкое пламя под огромным небосводом, и взгляд его все больше туманился.

— Может, Халаф, твои истязатели лучше моих? Или мои помягче твоих?

Деметрий ждал ответа. Ювелир почесал за ухом, посоветовал Халафу не ломать голову, не пытаться разгадать загадку византийца.

— Никакой загадки не вижу, — буркнул Халаф.



Ювелир спросил византийца:

— А что, твоя родня так ничего о тебе ~~ведать~~ не ведаёт?

— Нет, почему же? — Деметрий с трудом обращался к прошлому, словно устав от воспоминаний, которые выложил малознакомым людям. — За десять лет я дважды сообщал о себе через купцов. И ко мне приходили известия из Константинополя. Отец мой умер. Мать сгорела от горя. Вот и все.

Византиец поник головой.

— Деметрий, — сказал ювелир, — что тебе известно о судьбе других солдат?

— Ничего! Думаю, что все или почти все они погибли. Атака бедуинов была внезапной и беспощадной. Когда я влез на первый бархан и оглянулся, то увидел страшную картину: при ярком лунном свете, при ярких звездах убивали наших так, как убивают зверя, которому некуда податься. Вот что я увидел собственными глазами. Увидев, похолодел и скатился по песку вниз. Дальше бежал, не оглядываясь.

— И ты, конечно, ругал тех бедуинов? — спросил Халаф настороженно.

— Я ругал последними словами не бедуинов, а мир, в котором жил.

Потом все трое умолкли. Решили спать поочередно. Ювелир положил под голову ладони и произнес:

— Прекрасная подушка, пуховая постель.

И сладко-сладко зевнул.

— Завидую тебе, — произнес византиец.

— Мне? — еврей приподнял голову.

— Да, тебе.

— Завидуешь мне? А почему не Халафу?

— Он хмур, а ты еще способен зевать, как уставшее дитя перед сном.

— Послушай, Деметрий, ты, случайно, не поэт?

— А что?

— Поэт или не поэт?

— Нет, не поэт. Но люблю красивые песни.

Халаф был весьма мрачен. Он смотрел вперед, в завтра, в послезавтра и ничего хорошего в тех далях не предвидел. Оттого и был так мрачен.

Еврей уронил голову на песок.

— Спите, — сказал Халаф, — а я покараулю. Мой камень, который на душе, превращается в глыбу.  
— И мой, — признался Деметрий и закрыл руками. Может, он желал скрыть слезы, — ведь в его тридцать лет не то что умирать, но даже думать о смерти противоестественно.

Вдруг еврей вскочил, стал на колени.

— Слушайте меня! Внимательно! — сказал он.

— Ну, слушаем. — Халаф еще больше помрачнел..

— У каждого есть любимая песня детства. — Лицо ювелира озарилось радостью. — Она скрашивала нам жизнь. Давайте споем ее. Каждый по-своему. Но одновременно. Вот я подбрасываю в огонь хворосту, вот начинаю запевать. Следуйте за мной!

И запел ювелир.

Деметрий замешкался, но вспомнил ту, которую певала ему мать.

Халаф молчал. Слушал и молчал. А ювелир делал ему знаки, дескать, пой и ты с нами.

Деметрий тоже подбадривал его знаками.

Халаф, наконец, уступил: приложил руки к груди и запел высоким голосом. Он пел так красиво, что Деметрий и Саул пораскрывали рты от удивления.

## ЮВЕЛИР ТОЖЕ ОБРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ ПРОШЛОМУ

Рассказчик продолжал:

— Положение трех изгоев было воистину опасным. Добыв свободу, они попали в лапы безжалостной судьбы. Они стояли лицом к лицу с пустыней, как маленький, беззащитный челн, лишенный ветрил и руля в бескрайнем океане. Только тот, кто провел тревожную ночь или беспокойный день в пустыне, может в какой-то мере понять ту пропасть, на краю которой очутились Халаф, Деметрий и Саул.

Правда, в их душах светилась небольшая надежда: вдруг да пройдет невдалеке караван. Но звона колокольчиков пока что не было слышно. И еще была одна надежда: авось, попадетсЯ дичь, которая придаст им силы и они смогут идти вперед.

А пока эти трое занимали друг друга рассказами. Собственно говоря, само обстоятельство столь необы-



чайное, как нежданная, негаданная встреча в пустыне, подталкивала их ко взаимной откровенности. Ибо они были связаны одной веревочкой, то есть одной незавидной судьбой.

Халаф и Деметрий ждали, что скажет ювелир. И он сказал-таки:

— Смотрите: беру я песок. Он сейчас прохладен, а ведь на солнцепеке в нем можно было сварить яйцо. Явно изменился — не правда ли? Так и я: вы видите в моем лице беспомощное существо — песчинку среди необозримых песков.

Что рассказать вам? Мой рассказ — я очень этого боюсь — будет похож на ваш. Вам он надоеет, ибо он, может, дословно повторит ваши горести, ваши слезы.

— Э, нет, — сказал Халаф, — еврей, ты просто увливаешь. Ты обещал рассказать нам о своей судьбе. Что с того, что это будет даже повторением?! — Бедуин обратился к Деметрию: — А? Что скажешь ты?

Деметрий был согласен с бедуином:

— Мы должны услышать его рассказ.

— Вот видишь?! — воскликнул Халаф. — Говори, мы слушаем тебя.

— Халаф, ты говорил о Медном городе. Это почти сказка, и я заслушался тебя. А что расскажу я?

— Как — что? Ты поведаешь о своей судьбе.

— Повторяю, — упорствовал Саул, — я такой же убогий, как и вы. Просто цепь несчастий — больших и малых.

Деметрий твердо держал сторону Халафа:

— Саул, ты знаешь о нас почти все, а мы о тебе — ничего. Не увливай — рассказывай все, как было.

Еврей тяжело вздохнул:

— Ладно же, слушайте. Будь по-вашему... Начну сначала: родился я от пастуха и пастушки близ Мертвого моря...

— Постой, — перебил его Халаф, — разве мертвым бывает море?

— В самом деле, о чем это ты, Саул? — сказал Деметрий.

Еврей схватился за голову:

— Что вам от меня нужно?! — Он вдруг стал ершистым, резким. Ювелир так дико вскричал, что пустыня, казалось, встрепенулась. Долго держался за го-

лову, еще дольше молчал. Потом извинился. А чуть позже сказал следующее:

— Разрешите рассказать кое-что и вы поймете, почему вдруг стал я вопить, как ужаленный. Еще слишком свежи рубцы на моей душе. Еще слишком страдает плоть. Вот почему! Ясно? — Вдруг Саул заплакал навзрыд. — Считайте, что я восстал из мертвых. Я сам не верю, что живой и что я среди живых. Считайте, что я воскрес, как бог Деметрия. Загляните в мою душу, покопайтесь в моей груди, прикоснитесь к сердцу и вы увидите нечто: глубину человеческого несчастья. И вы ужаснетесь, ибо убедитесь, что некий Саул восстал из мертвых... Дай мне воды, Халаф, надо остудить сердце, а иначе оно лопнет. Знаете, как лопаются высушенный бычий пузырь? Так же может лопнуть и сердце.

На чем это меня оборвали?.. Да! На Мертвом море. Да, так называется оно. В нем человек не тонет. Поверьте мне! Сам плавал в нем.

Помогал моим родителям пасти стадо. В свободное время в полуденный зной лежал на камнях под оливами, а дед рассказывал про достойных пророков, слова которых всегда сбывались. Вот лежим, а дед рассказывает. Словом, рос я на песке, на камнях, в волнах Мертвого моря. Моя еда — краюха хлеба и глоток воды. А мать хорошо вязала и ткала. Ее тоже воспитала пустыня, как и отца. Она, наверное, умерла бы, если бы не любовь ее к нам, детям, коих было у нее равным счетом девять. Она говорила нам: «Вы — мой мир». Отними нас у нее, и она тут же упала бы замертво. Отцу было не до нас. Детей и у него доставало: две дюжины овец и работающий ослик. Отец никогда не жаловался, что много забот. Когда являлся в нашу хибару вечером, от усталости тут же валился и засыпал.

В субботу отец молился долго, истово. Он очень верил в бога и надеялся на него. Ведь бог некогда вывел наш народ из Египта и спас его. Неужели не доставало б милости божьей еще на одну семью? Отец наказывал молиться и нам.

Прежде чем уйти на пастбище, отец советовал:

— Молитесь. И, быть может, бог смилуется над нами.

При этом отец почему-то поглядывал на дверь, но за нею была пустота, никого.



— Где он? — спросили мы однажды про бога.

Отец подумал-подумал и объяснил так:

— Везде.

Мы осмотрелись, но опять же — никого.

— Дураки, — рассердился отец, — так он к вам и напросился! Вы у него одни? Растолкуй им! — сказал он матери.

И мать говорила:

— Молитесь горячо, непрестанно и он уберезет нас. От всего: от голода, холода, мора всякого.

Как-то соседский парень по имени Эзра — много старше нас, бывавший даже в Иерусалиме, тоже голодранец вроде нас, — сказал, не моргнув глазом:

— А я на всю плюю и не молюсь! У нашего князя во дворе и дома — золота, серебра и всякой живности в достатке. Он ест и пьет с утра до вечера и рабыни эфиопские поют ему песни. И ему некогда молиться.

— Кто этот князь? — спрашивали мы Эзру.

— Имя ему бен Асур, а узнаешь его еще издали — по пузу.

Так говорил нам этот Эзра, и когда об этом узнала наша мать, посерела лицом и запретила слушать богохульства этого Эзры. А мы все-таки слушали, потому что Эзра на все плевал и презрительно глядел даже на луну и звезды.

— Сходите в Иерусалим, — говорил он нам в пещере, на высоком берегу Мертвого моря, — и вы увидите такое, от чего у вас в кишках заурчит.

— А от чего же заурчит, Эзра?

— Очень просто: вы поймете, кто есть князь, а кто голодранец и пастух несчастный. Вроде нас с вами. Ведь у них на столе не то чтобы лепешки, но и сладкие вина, и различные лакомства заморские. Их жены мажут ногти персидской краской и моются индийскими снадобьями. От них пахнет, как от меда.

Эзра говорил сердито и мы недоумевали: откуда у него злость?

— А знаете, какие у них девушки? — говорил Эзра. — Душу отдашь за них!

Вот тут он нас вовсе сразил: к чему эти девушки, чем они досадили ему? Непонятно! Нет, решили мы

про себя, дурной характер у этого Эзры, злоба движет им, злобою живет.

Потом долго не видели Эзру и отец сказал однажды:

— Пропал этот Эзра-болтун, и в доме его стон и плач.

Наша мать запричитала и призналась отцу, что дети его слушали богохульные речи Эзры-болтуна.

— Так ли это? — спросил он.

Мы молчали. А сестры наши сказали:

— Да, братья ходили с Эзрой в пещеру.

Отец выдал нам горячих пощечин, потом уселся на землю поудобней и сказал:

— Эзра, считайте, погиб. Он попался в лапы господину нашему бен Асуру. А господин суров и не спускает никому и ничего. Уши у него длинные, глаз зоркий, а руки хватают так, как челюсти гиены. Берегитесь его! Дом его высок и крепок, стены неприступны, и все мы отдаем ему положенную долю. Вы слышали, что я сказал? Или ваши уши только для таких, как Эзра? Так знайте же: я скорее отрежу их, чем буду терпеть вашу глупость. Князь есть князь, и пастух есть пастух! У каждого свое место в этом мире.

Когда отец произнес «в этом мире», мы переглянулись: значит, есть еще какой-то другой мир? Но какой? Лучший или худший? Это следовало еще выяснить...

## ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ЮВЕЛИРА

Рассказчик говорил:

— Саул вел рассказ свой горячо, словно его чем-то подогревали. Глаза его болезненно блестели и пил он воду так, словно бежал вперед фарсанх за фарсанхом. Вот его слова:

— Шло время, мы росли, наш слух становился более чутким, глаза видели дальше, и умишка прибавлялось. Чем старше становились мы, тем горше представлялась жизнь. Отец становился все молчаливее, глаза матери не просыхали от слез. Я уже стал кое-что понимать в нашей странной жизни... Была у нас младшая сестра. Звали ее Ревекка. Уродилась она стройной и гибкой, как лоза, и вся семья и соседи дивились:



откуда такой цветок расцвел в эдакой пустынной местности? Слух о красоте Ревекки достиг ушей бен Асура, и послал этот проклятый своих подручных к отцу моему. И они сказали так: «Наш господин и твой господин желает, чтобы Ревекка прислуживала за столом его светлости. Полагая, что это будет счастьем и для девушки, и для ее семьи, князь надеется видеть Ревекку в ближайшую же субботу. А пока посылает этот подарок». И люди бен Асура положили на стол пять золотых. «Это купля», — вскричала наша мать, и отец сказал: «Да, похоже на куплю». Мы стояли в стороне и ждали, что же будет дальше. «Нет, — отвечали посланцы бен Асура, — от века заведено, чтобы рабы прислуживали господину. Это так же непреложно, как движение светил по заранее намеченному пути на небе». «При чем здесь светила? — возразил отец. — Наша Ревекка — и солнце, и звезды для нас». Посланцы говорили: «Смотрите: она босая, на ней жалкие лохмотья и волосы ее не промыты индийской душистой водой». Я более не выдержал и выступил вперед. «Воистину это разбой, — сказал я. — Наша сестра не будет прислуживать за столом». Посланцы бен Асура удивились: «Это твой сын?» Отец ответил: «Да». «Тот самый, что якшался с болтуном Эзрой?» «Да», — ответил я вместо отца. «Тот самый, который любил Эзру и чтил? Это интересно, — посмеялись посланцы. — Это весьма интересно... А знаешь ли ты, пастуший сын, что бунт беспощадно наказуем?» Я сказал, что не знаю, что есть бунт и с чем его едят. Я говорил столь твердо, что мать бросилась мне на шею и умоляла прикусить язык. Я же уперся, как осел, и мне было все едино: бунтарь или не бунтарь я? Тогда меня подхватили под руки те посланцы (а их было четверо) и вывели во двор. Потом повели к овражку, где на меня посыпались удары, словно град. А когда пришел в себя, понял я, что нахожусь у себя, в отчем доме, что окружен всей семьей. И мать моя, и отец, и братья и сестры мои рыдали надо мной, словно бы сын их помер. Но я был жив, поднялся на ноги. Отец, воздев руки к звездам, — а уже наступил вечер, — благодарил Иегову за то, что сохранил мою жизнь.

Я сказал отцу:

— Я, наверное, скоро лишусь ума.



— С чего это? — хмуро проговорил отец.

— Ум заходит за разум.

— Это как понимать?

— За что? — И я показал на свои синяки.

Отец уразумел, о чем это я. Он предложил:

— Выйдем во двор.

Весь мир был словно на ладони: красивый, невообразимо чудесный. Он нравился мне даже тогда, когда с голодухи сосало под ложечкой. Любил его всем сердцем, ибо это был мой мир, ибо другого я не знал и знать не желал.

И вот в такой день я был подавлен и взбешен. Как?! Меня избили до полусмерти в этом самом прекрасном мире? За что? И так уж ли прекрасен этот мир на поверку?

Отец обнял меня:

— Саул, сын мой...

И у него перехватило горло. Он попытался еще раз:

— Саул, сын мой...

И снова не стало дыхания в горле.

Тогда положил я голову на плечо отца и сладко-сладко заплакал. Очень сладко, ибо отходили от сердца моего горечь и уныние и ощутил я прилив молодых сил.

Так, обнявшись, стояли мы с отцом в прекрасном подлунном мире.

Наконец, дыхание вернулось к отцу и он сказал:

— Саул, сын мой! Знай одно: мы на самом деле рабы. И наш князь бен Асур — есть маленький цезарь-злодей, о котором много рассказывает твой дед. А посему, сын мой, вот мой первый завет, более важный, чем те, которые на скрижалях Моисеевых: береги себя! Ради нас, хотя бы.

Я сказал:

— Отец! Я уже не ребенок, а у меня еще ни жены, ни детей, ибо беден я, беден, как и все мы. И вот, являются они, чтобы опозорить нас, чтобы сделать мою сестру, нашу славную Ревекку, прислужницей в их большом доме. И как мне снести все это, отец? Неужели же должен молчать, проглотив язык? Нет, я сказал то, что думал, и получил свое! И поделом! Ибо надо же уметь, надо же кое-что постигать! Теперь я знаю, что делать!



Я удалился в пещеру, где стояла прохлада, и как собака зализывал раны, а мои носили мне пить и есть. Там лежал я на охалке мягкого хвороста и думал: Вот создал меня бог, он дал мне душу, сердце, разум. Но почему же судьба моя — сплошное страдание? Так говорил я себе, и твердый ком стоял в моем горле.

Однажды утром что-то огромное закрыло вход в пещеру и сделалось в ней совсем темно. «Зверь», — подумал я. Но тотчас услышал человеческий голос:

— Не бойся. Я — Ахав.

— Ахав? — приподнялся я на локтях, чтобы вспомнить, кто же это.

— Не пытайся узнать меня, ибо я самое ничтожное в мире существо, — сказал он.

— Как это понимать?

Этот Ахав — детина высоченного роста и широкий в плечах, — уселся рядом со мной. Руки его были воистину руками богатыря, шея — некоего могучего зверя, а в глазах его таилась неожиданно благородная грусть. И эта грусть свидетельствовала о том, что рядом со мною — человек, настоящий человек с сердцем и душою.

Ахав тяжело дышал, и я спросил его:

— Ранен, что ли?

— Да, — сказал он.

— Куда?

Он указал на левую сторону груди, на сердце. Но я не видел крови, как ни напрягал зрение.

— Моя рана бескровна, — сказал Ахав, — и в этом заключается беда. Ибо жив я, а сердце мое разорвано.

Ахав замер, словно превратился в каменную глыбу.

— Ты спишь, Ахав? — спросил я, потому что показалось, что он уснул.

— Нет, — услышал я.

— Я могу помочь тебе?

— Нет.

— Что же делать мне?

— Ничего. — Так ответил мне Ахав, продолжая оставаться каменной глыбой.

Я улегся на солому и стал ждать, что же будет, уповая на бога нашего Иегову.

И Ахав сказал:

— Я знаю тебя. Я знаю твоих истязателей. Я знаю твою сестру Ревекку, которая красотой своей губит и себя, и вас. Послушай: пойдем вместе в Иерусалим, там мы будем господами себе. Вызволим себя из рук истязателей.

— Что мы там будем делать, Ахав?

— Трудиться в поте лица.

— На каком поприще?

— Ты постигнешь истинную красоту. Дядя у меня ювелир, и его знают в Иерусалиме.

— Мы поедем к нему?

— Да.

У меня болело все тело и ныла душа. Я сказал себе в этой пещере: «Да, надо уходить отсюда».

И я ответил Ахаву:

— Согласен! Я сбегу отсюда, ибо щеки мои пылают от пощечин, а на спине следы жестоких плетей.

— Это княжеские подарки, — усмехнулся Ахав.

Я молча кивнул.

## ЮВЕЛИР ЗАКОНЧИЛ ГОРЕСТНУЮ ИСТОРИЮ

Рассказчик говорил:

— Вот что еще поведал о себе ювелир в той великой пустыне, в ту тревожную ночь:

— Халаф, Деметрий! Жил я и не жил. Пребывал я в Иерусалиме и не пребывал. Все походило на сон. Воистину это был сон!

Может, совершил я великий грех: сам удрал в Иерусалим, как вор, и увел с собою Ревекку. Сделал я это по наущению Ахава. И на свою голову! А почему на свою? — скажу: как говорится, из одного огня попал в другой, можно сказать, в самое пекло угодил. Мою сестру Ревекку вскоре соблазнили: увели в какой-то господский дом, там она и осталась. Передали мне несколько серебряных сиклей, якобы от нее. И сказали, что она, моя любимая сестра, велела известить меня и родных, чтобы не тревожили ее и не пытались искать.

Но я не успокоился. Я сходил с ума. Нельзя было сидеть сложа руки!

Пошел я к равнину той синагоги, которая находилась поближе к моему жилью. Я сказал: «Ребе, вот я, никого здесь не знаю, словно чужой в этом городе».



Раввин сказал мне: «Ты читал Талмуд?» — «Что это?» — спросил я. «Как? — вскричал раввин, — ты не знаешь, что есть Талмуд? И тебя носят ноги по этой земле? Вон отсюда!» — «Не уйду, — сказал я, — потому что потерял я красавицу-сестру. И я тычусь во все стороны, но понапрасну». — «Она вышла замуж?» — «Не знаю. Я обратился к страже, охраняющей покой Иерусалима, но меня высмеяли и прогнали прочь. «Разве вы не евреи, — сказал я, — разве не должны вы протянуть мне руку помощи?» Дали мне пинка и заорали дружно: «Вот тебе ноги помощи!» Раввин вынужден был выслушать меня. Когда я почувствовал, что надоел ему, сказал: «Спасибо». — «Постой, — остановил меня раввин, — кто ты и где служишь?» — «Звать меня Саул, — ответил я, — а служу у великого ювелира Ионафана на побегушках, но когда-нибудь выбьюсь в настоящие ювелиры». «Вот, вот, — сказал раввин, — когда выбьешься в ювелиры, тогда и приходи ко мне».

Несолоно хлебавши, поплелся я в свою каморку и проплакал всю ночь.

— Не спал, что ли? — спросил утром хозяин.

— Не спал.

— А надо бы. Здоровье — главное в нашей жизни.

— Я потерял сестру.

Хозяин почесал мизинцем кончик крючковатого носа:

— Ревекку, что ли?

— Да, хозяин.

— Смазливая девчонка... Сама устроилась?

— Как смеешь, хозяин?! — Я возмутился. — Она чиста, как родниковая вода, бьющая из-под земли. Она добра и усердна в работе...

— Не тебе, значит, чета. Саул, ты работаешь из рук вон плохо. Предупреждаю: за порогом тебе будет хуже.

Я пожаловался градоначальнику — милейшему толстяку с клочковатой бородашкой.

— Ты говоришь, что работаешь у господина Ионафана?

— Да, твоя светлость.

— И что же он? Пока не выгнал тебя?

— Нет.

— Так вот, молодой человек: он выгонит тебя и будет прав.

— За что же выгонит? — испугался я.

— За то, что бродишь по городу вместо того, чтобы трудиться до первой стражи.

— Я очень стараюсь...

Начальник подал знак страже. Меня схватили за шиворот и приподняли над землей.

— Смилуйся, великий господин! — взмолился я.

— Выкиньте его! — приказал начальник.

— Ведь я не чужой! — успел выкрикнуть я и тут же уткнулся мордой в улицу, вымощенную камнем. И морда моя вся в крови...

На следующий день поплакался я такому же подмастерью, как я. Звали его Иосиф. Милый такой. Много моложе меня. Худой и бледный. Весь в трудах. Уже горб себе нажил. Я просил у него совета. И он сказал:

— Потом.

— Почему — потом?

Он приложил палец к губам и я умолк. Значит, даже поговорить трудно в этом великом городе? «Я же не чужой, я не чужой», — твердил я. А когда эти слова произнес вслух перед Иосифом, он очень огорчился. Долго смотрел на меня.

— Мне жаль тебя, Саул, — прошептал он испуганно. В нашей каморке находились только мы с ним. Кого же он так опасался? Я спросил его об этом.

Он притронулся пальцами к мочке своего уха. Сначала левого, потом — правого.

— И у стен имеются уши, — проговорил Иосиф тихо, чуть слышно.

— Мне некого бояться, — сказал я.

Он шепнул мне на ухо.

— Саул, попридержи язык. В этом городе все подчинено золоту. А у тебя его много?

— Ни крупницы.

— Значит, ты просто сволочь.

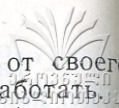
— Как?!

— А вот так, — все тем же шепотом продолжал Иосиф.

— У меня пропала сестра...

— Ну и что?





— Как?! Разве мало этого? Куда уйти от своего горя? У меня слезы на глазах и я не могу работать.

— Несчастный! — сказал Иосиф. — Ты обречен. В этом городе ты не найдешь сочувствия...

— А хозяин наш?

— Он такой же, как и наш главный. Но есть разница. Тот дубасит открыто, а наш сосет кровь, как паук.

Я возмутился: что же это получается: еврей сосет кровь еврея? А где же братство? Где же милосердие?

Иосиф жалостливо поглядел на меня.

— Могу сказать, — проговорил он, — лишь одно: жаль тебя. Не жилец ты на этом свете. Ежели... — и замолчал.

— Что ежели, Иосиф?

— Ежели не станешь другим.

— Каким это другим?

— Другим и — все! Сам шевели мозгой. Это тебе не клочок бесплодного пастбища, но великий Иерусалим. Его даже римские цезари уважали.

Этот Иосиф парнем был головастым, знал кое-что из Талмуда, слышал речи умных людей, в Сидоне одно время околачивался в гавани, чтобы услышать иностранный говор. Даже наш хозяин обращался с ним немного лучше, чем с другими. А это уже кое-что да значило. Этот Иосиф тоже хлебнул горя. Как раз в Сидоне он угодил в историю, к которой имел такое же отношение, как и мы с вами. Он попал в лапы городской стражи, и она показала, что есть наша справедливость: били его железными прутьями по пяткам и ягодицам. Когда свет погас в его глазах, а потом снова вернулся, очутился Иосиф в подвале вместе с крысами и полунагими людьми, которых морили голодом. Иосиф справился, кто они, какой веры. Один сказал: пастух. Другой: разносчик воды. Третий: помощник пекаря. Четвертый: подметальщик. А все вместе: еврей!

— А где же милосердие? — спрашивал Иосиф.

Те махали руками, дескать, и не спрашивай.

— А вера где?

В ответ молчание.

— Где же бог?

— Парень, — сказал один беззубый, — ежели ты ищешь его — ступай к богатеям. У них еды по горло

и жены все красивые, наподобие Давидовых цариц. Бог дружит только с ними.

С тех пор Иосиф поумнел и вознамерился учить меня уму-разуму...

— Иосиф, — обратился я к нему, — я шевелю мозгом, а придумать что-либо путное не могу.

— Хочешь добрый совет?

— Очень.

Иосиф дожевал край твердой, как камень, лепешки, запил доброй чашей воды и сказал так:

— Зачем тебе дан язык? Знаешь ты это?

— Знаю.

— Так скажи — зачем?

— Чтобы говорить.

— Дурак ты, Саул! Простых вещей не разумеешь. Так слушай: он дан тебе богом, чтобы ты молчал.

— Как?!

— Вот так! Как слышишь!

Я не очень понимал его. Язык дан богом, чтобы разговаривать, а не для того, чтобы молчать.

— Страшное заблуждение, — продолжал Иосиф, словно до печенок надоели ему эти разговоры. — Уши имеются не только у нас. Они и у сильных мира сего. Только уши у них пошире бычьей пасти. Они слышат каждый шорох, особенно, когда ведется непочтительная болтовня.

— Мне нужна моя сестра, — сказал я. — Я за нее в ответе перед родителями.

— И не такие исчезали в Иерусалиме, — бесстрастно говорил Иосиф.

— Я найду ее.

— И не пытайся. Ведь она очень красива?

— Да, очень.

— Тем более не ищи. Подумай о себе.

— Мне уже под тридцать. Я свое прожил.

— В таком случае, дело твое. Но я тебя предупредил, ибо руки у тебя прекрасные и сердце доброе.

Я бросился на колени перед Иосифом:

— Ты умен. Скажи мне, кто мог похитить ее?

— В Иерусалиме много тех, кто зарится не только на золото, но и на красавиц.

— Кто? Скажи мне, Иосиф. Век буду благодарен.





— Я же сказал: их много, преступников...

— А в бога они веруют?

— Еще как! Одной рукой возносят молитвы, а друго-  
гой — душат нас с тобой. Еще раз повторяю: у тебя зо-  
лотые руки, скоро ты будешь лучшим ювелиром и, воз-  
можно, откроешь свою лавку...

Я вспыхнул, хватил себя кулаком по лбу, прокли-  
нал себя. Наконец прокричал:

— Чтобы кормить этих злодеев?

— Этих и многих других. — Иосиф был невозму-  
тим.

Я настойчиво обращался к нему:

— Скажи, чьих рук это злодеяние?

— Зачем?

— Я хочу знать. А иначе нет мне жизни.

— Выкинь это из головы.

— Ревекку?

— В жизни много потерь.

— Я виновен в этой. Это я увлек ее сюда.

— Но ведь и там ей было бы не лучше.

— Пожалуй.

— Мы страдаем из-за ума или красоты. — Иосиф  
поднял кверху указательный палец. — Страдаем при  
всех случаях...

От злости и немощи своей у меня выступили сле-  
зы.

— Я убью его, — решил я.

— Всех не перебеешь, Саул. — Взял меня Иосиф  
за руку и долго держал ее, чтобы передалось мне его  
спокойствие.

Но разве угонишь вулкан? Я познал бедность  
— она была у нас под боком, в отчем доме. Потом я  
стал разбираться в том, что творил наш князь. И то,  
как позарился он на нашу Ревекку — окончательно от-  
крыло мне глаза. «Где справедливость?» — вопрошал  
я. Могу поголодать, могу похолодать, но не стерплю  
несправедливости!

Я вроде бы жил, работал, вроде бы спал, но в  
голове одно: «Где Ревекка?» И тогда решил. Не сове-  
туясь с Иосифом. Не донимая его вопросами, не стал  
выведывать кто и где злодеи, ибо уклонялся он от пря-  
мого ответа.

Как уяснил я из многочисленных расспросов, —

весьма осторожных, — все сходилось на том, что наш главный и есть главный разбойник в Иерусалиме.

Я добыл себе кинжал. Наточил так, что им можно было брить бороду, и спрятал в своем халате.

Я обратился в лису. Вынюхал все ходы и выходы в доме градоначальника, изучил все, что касалось его повадок, его житья-бытья. А самое главное, — самое-самое главное! — я узнал, что Ревекка в его доме, что плачет она день и ночь, вся слезами исходит.

Намерение мое созрело: всадить нож по рукоять этому пауку городскому. Много грехов на его совести. Захотелось отомстить за всех. Я паял золото, гнул золотые кольца, мастерил серьги, а в голове одно: «Убей, убей, убей! Бог простит тебе пролитую злодейскую кровь».

Как-то подошел ко мне хозяин. Постоял возле. Взял в руки мои золотые поделки.

— Молодец, Саул. Я прибавлю тебе пять сиклей. Вижу, как служишь исправно.

— Да, господин мой, служу я верно.

Он все стоял и не отходил от меня. Спросил:

— А зачем тебе мешочек с сушеным мясом и лепешки, которые едят пастухи в пустыне? И зачем фляги с водой?

Эта лиса была осведомлена обо всем. Но кто же копался в моей крысиной норе — иначе не назовешь мое жилище?

— Мой господин, — сказал я, не запинаясь и не выдавая волнения. — Еду заготовил для моих родителей, сестер и братьев.

— А воду?

— Это моя пастушеская фляга — я пью из нее.

— Веди себя умно. — Выговорив эти слова весьма наставительно, хозяин оставил меня в покое...

А теперь слушайте, какой грех взял я на душу.

Поздним вечером, когда тьма пала на город и уже прошла по улицам первая стража, крадучись отправился ко дворцу. Я полз ужом, лазил подобно ящерице по отвесной стене...

И вот я в его комнате. В его спальне...

В просторной комнате горел светильник, а на ложе храпел могучим храпом ненавистный градоначальник. Я хорошенько убедился — он ли это, и всадил нож по



самую рукоять. В самое сердце. Затем перерезал ему глотку. Для верности. В это самое время я не думал о боге — простит меня или не простит?

А потом бежал.

В пустыню бежал. Знал хорошо: надо торопиться на восток, в пустыню, подальше от Иерусалима!..

И вот я здесь, с вами. Я в этой обетованной пустыне. И говорю себе: «Саул, ты сделал, что мог. Ревекка отомщена».

Завидев вас, я сказал себе: «Саул, ты пропал. Они убьют тебя. Это люди того зверя, которого ты прикончил. Мне говорили, что он достает врага из-под земли, из-под воды. Стало быть, верно это, и я пропал».

Я следил за вами и дрожал всем телом. Как больной лихорадкой...

Порой меня мутило от страха...

## ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ПУСТЫНЕ ПОТОМ...

Рассказчик говорил:

— Итак, перезнакомились друзья по несчастью. И рассвело в пустыне, солнце встало — и желтое, и горячее. Прислушались эти трое — все тихо, не слышно караванных колокольчиков.

— Никого, — сказал Деметрий.

Саул ушел на охоту и к полудню явился с пустыми руками.

— Но воды зато вдоволь, — пошутил он.

— Уйдем отсюда, — сказал Деметрий. Встал и снова сел на землю. — У меня болят ноги.

— Поползем на брюхе, — снова пошутил Саул.

— Ноги не мои, Саул. Понимаешь?

Халаф молчал. Уткнулся подбородком в грудь.

— Руки мои пусты, — сказал Саул.

А Халаф будто и не слышал этих слов. То ли просто грустил, то ли мыслями был далеко, в родной палатке.

Деметрий снова попытался встать. Долго щупал колени. Дышал глубоко, глубоко.

— Нет, не мои, — проговорил он. — Они мягкие, словно из пуха сделаны. Я без ног... — И опустился без сил.

— Вот принесу зверя и снова обретешь ноги,  
сказал Саул как можно веселее.

Деметрий покачал головой:

— Пропал я.

— Рано, Деметрий, горевать. Нам надо идти.

— Туда? — И византиец показал пальцем на небо.

— Халаф, скажи ему два слова.

Однако бедуин сидел все в той же позе, перебирая песок, а голову опустил еще ниже.

Саул пытался расшевелить друзей:

— Если вырвались мы из преисподней, если мы избежали гибели от рук наших истязателей, избежали недружелюбия и мы свободны — чего же мы хнычем? Надо думать о будущем. И не падать духом. Или я неправ? Халаф, ответствуй.

Халаф медленно покачал головой. Проговорил замогильным голосом:

— Оглянись, Саул.

Ювелир оглянулся.

— И что же, Халаф?

— Что скажешь, Саул?

— Нам надо двигаться.

— Куда?

— Куда-нибудь.

— Ты видишь темную полосу?

— Где?

— В конце вселенной...

Где-то далеко, далеко примерно у края неба Саул и в самом деле увидел длинную темную борозду.

— Это самум, — мрачно выговорил Халаф. — Надо укрываться.

Он увлек друзей к высокому берегу вади, выбрал подобие небольшой пещеры.

— Сюда, — приказал он.

— Зачем?

— Я говорю — сюда! И каждый пусть молится своему богу. Горячо... Чтобы оставил нам дыхание...

Саул недоумевал, и Деметрий тоже:

— Что же все-таки? В чем дело?

Халаф молча улегся и указал друзьям на их места. Он был мрачен так, как бывает мрачен человек, повисший над зияющей пропастью.

— Заткните носы. Сожмите плотно губы. Послу-



шай, ювелир: довольно валять дурака! Не до шуток: сейчас разразится самум! Ложитесь рядом, лицом к земле. И молитесь.

Халаф не говорил, но приказывал. Он сказал:

— Вот мы узнали друг друга. Вот мы стали, словно братья. Самое удивительное в нашей жизни то, что мы терпели все беды от своих же. Я — от бедуинов, которые осели в Медном городе, Деметрий от своих единоверцев, Саул — то же самое. Я сейчас помолюсь могущественным богам и скажу им вот что: «Ежели вызволите нас из этой великой пустынной ловушки, мы поселимся вместе. И будем жить вместе. Может, это будет остров. Может, это будет горная полянка. А может, оазис, неведомый никому и лежащий вдали от караванных дорог. И всю жизнь будем благодарить вас». Что скажете? Только просите поскорее, потому что чувствую я приближение великой бури.

Деметрий недолго раздумывал:

— Будем навеки вместе.

— Воистину! — произнес Саул, укутывая голову в свои лохмотья, чтобы дышать сквозь них, как повелел Халаф.

Что говорить дальше?

Летописцы скупы. Им подавай царей, да помощественней, да покровожадней, да повоинственней. А кому какое дело до несчастных, застрявших в пустыне? Но жива народная молва. Но живы языки человеческие, но жива память народа. Они не обойдут своим вниманием ни доброго, ни злодея, особенно злодея. Они воздадут должное тому, кто властвовал и, властвуя, злобствовал...

Словом так:

Подул самум. Настоящий. Аравийский. И день оборотился в ночь. Исчезло солнце. Воздух наполнился мельчайшей пылью, и пыль проникала во все поры пустыни. Буря повелевала барханами: стирала с лица земли одни, воздвигала другие где-нибудь поодаль. Чудовища-гули ожили все разом. Неслись с невиданной силой и не было никакой преграды им. Земля провалилась под ногами, небо мириадами осколков обрушилось на землю.

Три дня и три ночи дул самум. И ночь, мало чем



отличалась ото дня, и день от ночи. Халаф тешил себя грезами о родной палатке, где вся семья в урочное время лакомила теплым молоком верблюдиц. Если великий бог дарует жизнь ему и его друзьям, он не отступится от своего слова и пойдет вместе с ними искать место нового обитания, где не будет истязателей, но только одни друзья.

Деметрий мысленно лежал на гальках Босфора и голубые волны плескались возле его ног, щекотали прохладой пятки.

Саул казнил себя за опрометчивость, с которой он увел Ревекку в город. Может, ей было бы лучше там, у Мертвого моря, пусть даже у князя? А насчет будущего он твердо держался данного им слова — быть вместе с Халафом и Деметрием, вместе искать дорогу, ведущую к новой жизни...

На четвертый день вроде бы поуспокоилось, вроде бы рассвело. Но это был ранний вечер, и багровое солнце освещало пустыню, которая, казалось, никак не изменилась, — ведь барханы, как близнецы, их с трудом отличишь друг от друга.

Вдруг зашевелился песок.

Вдруг показалась рука.

Вдруг показался человек. Он! Халаф!

Был он точно оглушенный громом. Точно лишившийся памяти. Огляделся, стряхнул с себя пыль и вдруг, точно опомнившись, стал бешено разгребать песок. Голыми руками.

Он работал истово. Не жалеючи себя.

И откопал. Откопал-таки друзей, лежавших рядом, но их души унес самум.

С трудом вытащил из песка Халаф два трупа. Положил рядышком.

Он понимал, что должен выкопать могилы. Должен уберечь друзей от зубов гиен. Это именуется последним долгом. И он выполнит его. Во что бы то ни стало...

Халаф обратил лицо к солнцу, и лицо его сделалось багровым, как солнце.

Он встал.

Осмотрелся.

Обвел глазами то, что называется горизонтом: никого, никого, никого...





Тамаз НАТРОШВИЛИ

## Апология позабытого героя

**В** памяти грузинского народа навсегда отпечатались легенда о трагической судьбе зодчего Светицховели.

«Пил я воды Хекордзулы, так построил Мцхета, схватили меня, отсекли руку: почему построил хорошо», — говорится в народном стихотворении. Полагают, оно навеяно скульптурным изображением на северной стене храма человеческой руки, держащей символ зодчества — угольник.

Но необязательно, что изображенная рука — это отсеченная десница. В научной литературе отмечается: наши предки имели обыкновение украшать подобным образом стены святилищ. Поэтому изображение руки встречается на фасадах многих храмов.

Согласно легенде, храм Светицховели и монастырь Самтавро в Мцхета построены по единому плану, первый — учеником, второй — мастером. Храм получился прекраснее монастыря, и исполненный зависти к своему ученику мастер-чужеземец отсек ему правую руку. С легендой в какой-то степени перекликается сюжет рельефа на северном фасаде храма: улыбающийся юноша в грузинской чохе и рядом с ним опечаленный муж в одежде иностранца, похожий на перса.

По остроумному замечанию одного шекспиролога, о Ричарде III исторической науке известно гораздо меньше, нежели рядовому читателю или зрителю, прочитавшему или видевшему на сцене бессмертную трагедию Шекспира. Можно смело утверждать, что о зодчем Светицховели наша историческая наука осведомлена в гораздо меньшей степени, чем грузинский читатель, в сознании которого мастер Арсакидзе из романа

Константинэ Гамсахурдиа «Десница великого мастера» отождествляется с образом истинного создателя храма.

В своей книге «Старые грузинские мастера» Вахтаанг Беридзе сетует, что объем статьи или очерка, посвященных тому или иному мастеру, зачастую не соответствует его таланту или значению. Порой обыкновенному каллиграфу уделяется гораздо больше внимания, чем, скажем, «гениальному зодчему Арсукидзе», поскольку размер статьи целиком определяют обилие или, напротив, скудость дошедших до нас сведений.

Науке известны две надписи на Светицховели, в которых упоминается зодчий. Науке известны также народные предание и стихотворение о безвинно пострадавшем мастере, но рядовой читатель знает гораздо больше. К примеру, он знает, из какого уголка Грузии был мастер, где он выучился своему ремеслу, как попал в Мцхета, о чем думал, мечтал, как звали его возлюбленную...

Словом, ему известны значительные или незначительные эпизоды из жизни зодчего, и все это благодаря Константинэ Гамсахурдиа, заполнившему своим шедевром одно из белых пятен нашей истории.

В прологе к роману писатель рассказывает, как у него родился замысел «Десницы великого мастера». По совету смотрителя храма старца Эквтимэ он поднялся по лесам, которые покрывали его, и на северном фасаде увидел изображение человеческой руки, держащей угольник. Подпись под ней гласила: «Десница раба божьего Арсакидзе, да помилует его Бог». Затем описываются изображенные тут же две мужские фигуры: «Один — безусый юноша, одетый в грузинскую чоху, другой — муж с некрасивым морщинистым лицом. На нем иранская одежда. В чертах лица затаилась жестокость». Смотритель храма объясняет писателю: «Этот юноша — Константин Арсакидзе, а старик — его учитель Фарсман Перс». Героям известного народного сказания писатель дал имена, и зачатки неминуемого конфликта налицо.

К тому времени, когда писалась «Десница великого мастера», в научной литературе уже было известно о надписи и изображении, сохранившихся на стене храма. Не исключено, что рассказ о том, как зародилась идея создания этого произведения, — безобидная мистификация со стороны писателя, преследовавшего цель разжечь интерес читателя, хотя лучше увидеть собственными глазами, чем прочесть об этом в книге. Главное, что писатель максимально учел как научную информацию, так и содержание народного сказания. Он вдохнул но-



вую жизнь в трагическую легенду и сделал ее достоянием миллионов. А благодарный читатель отвел его роману место на страницах истории Грузии, признав его феноменом, отразившим подлинную действительность.

Тот факт, что Константинэ Гамсахурдиа нарек зодчего Светицховели своим именем, кому-то может показаться проявлением авторских амбиций, но писатель и тут строго следует научной литературе, в частности первоначальному прочтению вышеупомянутой надписи: «Десница раба Константинэ, да помилует его Бог». И этот вариант надписи, без всякого сомнения, был известен писателю. Таким образом имя и фамилия его героя представляют своеобразный синтез обоих ее вариантов. (Между прочим, по Саргису Какабадзе, фамилия зодчего была Арсакидзе, и только с 1942 года, уже после опубликования «Десницы...», Леван Мухелишвили ввел в научный обиход «Арсукидзе»).

В прологе же писатель рассказывает, что старец Эквтимэ показал ему древнейшую грузинскую монету: «На ней можно было различить всадника с соколом в левой руке. На обороте монеты — надпись на грузинском языке: «ЦАРЬ ЦАРЕЙ ГЕОРГИЙ — МЕЧ МЕССИИ». И в самом тексте романа говорится, что на серебре, которое чеканилось на монетном дворе Георгия, была вышеупомянутая надпись.

Но согласно данным нумизматической литературы, монеты Георгия I еще не обнаружены, так что монета, о которой пишет писатель, всего лишь навсего — плод его фантазии. Вопрос только в том, насколько художественная действительность соответствует исторической реальности.

В титуловании грузинских царей «меч Мессии» появляется во времена Давида Строителя. По мнению специалистов, вычеканенное на медной монете Давида «Царь царей Давид, сын Георгия — меч Мессии» являлось прекрасным выражением политики великого грузинского царя. Эта гордо звучащая фраза служила грозным предостережением как правителям мусульманского мира, так и внутренним врагам. Константинэ Гамсахурдиа отодвинул ее появление на столетие назад, приписав герою своего романа. Строгий критик с полным правом мог бы упрекнуть писателя в анахронизме или фальсификации нумизматических данных, а тот, в свою очередь, с полным же правом — повторить слова разгневанного Флобера, брошенные восставшим против него педантам-критикам и археологам...

Но некоторые детали, характеризующие деятельность ис-

торического Георгия I, наводят на мысль, что, найдись в один прекрасный день его монета, не исключено, что она будет украшена именно вышеприведенной надписью.

Современный польский исследователь Збигнев Залуский отмечает, что существует определенное различие между общераспространенным представлением о том или ином явлении прошлого и исторической реальностью, доступной немногим специалистам. Так, например, представление о защите города Ченстоховы от шведских захватчиков (XVII в.) сложилось в Польше под влиянием романа Генрика Сенкевича «Потоп». Но профессор Ольгерд Гурка на основании различных документов доказал определенное несоответствие романа исторической действительности. В частности указал на такой факт: один из главных героев романа Кмициц никак не мог взорвать огромную пушку шведов, потому что шведская часть, окружившая город Ченстохову, вообще не имела артиллерии. Но польскому читателю гораздо лучше известен «Потоп» Сенкевича, нежели труды историка Гурки, географа Малковского или литературоведа Сандлера, в которых добросовестно перечисляются многочисленные отклонения в произведениях Сенкевича от исторической действительности. Залуский добавляет, что читатель учит историю своей страны по историческим романам, а научные достижения в этой области чаще всего неизвестны ему.

Сила художественного слова очень часто затмевает сухой язык истории. Вымысел большого писателя передает нам дыхание эпох, даже если он частично и расходится с исторической реальностью.

Безусловно, совершенно недопустимы искажение истории, извращение известных явлений и фактов, попытки выдать черное за белое или наоборот, но в отдельных, и не столь уж редких, случаях, когда историческая наука не в силах заполнить «белые пятна» на карте прошлого, эта заманчивая миссия возлагается именно на исторический роман — он призван оживить историю и показать читателю полную ее панораму.

Что же касается надписи на еще не обнаруженной монете Георгия I, о которой мы узнаем из романа Константинэ Гамсахурдиа, то такой вот интересный, на мой взгляд, факт делает ее художественно убедительной: как известно, все грузинские цари до и после Георгия I носили почетные титулы, дарованные им византийским императором (Куропалат, Новелисимос, Севастос, Магистрос и др.), и только Давид Строитель, будучи еще царевичем, отказался от византийского титу-



ла как роняющего его престиж. С этого времени утвердившаяся в династии Багратионов эта традиция окончательно исчезает. Но и до Давида Строителя был подобный прецедент: Георгий I на один век опередил своего прославленного потомка. Все дошедшие до нас памятники и летописи того времени упоминают Георгия I без всякого византийского титула, называя его только — «царь царей».

Нет ничего удивительного в том, что Георгий I явился подобным исключением, ведь он, по словам академика Ивана Джавахишвили, «почти всю свою жизнь посвятил борьбе против византийского кесаря». А известный русский византолог Ф. Успенский назвал того же Георгия I «наиболее горячим защитником независимости».

В галерее политических деятелей прошлого Грузии Георгий I выделяется даже на фоне самых избранных. Это была бесстрашная и прозорливая личность. С ним связан беспрецедентный в истории Грузии факт: готовясь к войне с единоверным кесарем византийским, он заключил военный союз с мусульманским правителем!

В послесловии к своему роману Константин Э Гамсахурдия писал: «Кто хотя бы приблизительно может представить себе, каким извергом был Василий II, «Болгаробойца», империя которого простиралась от Аппенинского полуострова до Басиани, от крайних рубежей Балкан до аравийской пустыни, тому станет ясно, носителем какой колоссальной энергии был тогдашний царь Грузии Георгий I, однажды, но все-таки нанесший поражение византийскому кесарю, и вот этому несравненному рыцарю, которого летопись называет «бесстрашным, как если бы был без плоти», в грузинских хрониках посвящено всего несколько страниц. Меня глубоко поразила подобная несправедливость, и я посвятил жар своей души апологии этого позабытого героя». И как бы почувствовав неловкость, добавлял: «Апология здесь не очень удачное слово». Может быть, тут же припомнил, что в то время косо смотрели на восхваление царей. Это слово, возможно, в самом деле звучит несколько торжественно. Но если вспомнить, что по-гречески «апология» означает защиту, то его употребление в данном контексте никого не должно настораживать. Вероятно, писатель имел в виду скорее вывод позабытого героя на передний план, чем его восхваление.

В том же послесловии к роману читаем: «В наше время, в век апологии труда я воспел дело великого мастера и его самоотверженность. Иным критикам показалось, что главным

героем моего романа является Георгий I, а не Константин Арсакидзе. Соблюдать иерархию в галерее героев — пустое занятие. В этом случае надо обратить внимание на заголовок. В фокусе явлений — история отсечения руки, т. е. роковая судьба великого мастера в тоталитарном государстве».

Насчет «апологии труда» не может быть двух мнений. Ярчайшее ее подтверждение — образ мастера Арсакидзе. Но, с другой стороны, соображения «иных критиков» отнюдь не кажутся высосанными из пальца. Споры вокруг этого вопроса продолжают по сей день. В своей статье «И все же — царь Георгий» Ирма Чхеидзе пишет: «И все же царь Георгий заслоняет всех остальных героев романа. В литературе это иногда случается — тайный замысел и намерение писателя становятся очевидными против его воли». Тем не менее у нас нет основания не доверять самому автору. На мой взгляд, справедливее было бы допустить следующую мысль: в романе Константина Гамсахурдиа — два главных героя, две личности, самоотверженно служащие своему великому призванию. Судьба противопоставила их друг другу: зодчего Арсакидзе, создателя храма Светицховели, и царя Георгия, творца «судьбы Грузии».

«Десница великого мастера», безусловно, нуждается в более просторном историческом комментарии, нежели тот, что дан автором, где в двух словах говорится о том или ином историческом лице или поясняется тот или иной термин. Чтобы яснее представить себе исторический фон романа, необходимо вспомнить все то характерное для того времени, что осталось за текстом произведения.

Автор, разумеется, во всех подробностях мог описать столкновения Георгия I с византийским кесарем, воссоздать бросающие в дрожь батальные сцены, либо поведать о делах того же кесаря Василия. Материала для этого достаточно в грузинских, арабских, византийских, армянских источниках (в примечаниях к роману они, кстати, указываются), но он устоял против соблазна, т. к. это, безусловно, ослабило бы напряженность повествования, притупило бы его остроту. Роман оторвался бы от родной почвы, балласт описаний внешних боев потопил бы динамику повествования. Пойди писатель по протоптанному пути, мы вместо «Десницы...» имели бы еще одну попытку беллетристического пересказа исторических сочинений, но ведь истинная художественная литература не должна дублировать историю. Писатель предпочел мимоходом коснуться упомянутых сражений, как дополнительных штрихов к портрету своего героя. В романе война — уже свершившийся факт:



мы видим Георгия, побежденного колоссом, но в то же время и победившего его — он спас свою страну от покорения.

Как видно, Константинэ Гамсахурдиа придавал огромное значение вышеупомянутому беспрецедентному факту. Позднее он еще раз вернется к нему и в статье, посвященной памяти Сулхана-Саба Орбелиани, подтвердит это: «Еще Георгий I не смешивал в своей политической деятельности религиозные и политические моменты, потому этот царь в своей борьбе против христианской Византии не побоялся вступить в союз с халифом ал-Хакимом».

Что говорят об этом необычном союзе исторические источники?

Арабский историк XI века Яхья Антиохийский сообщает следующее: когда кесарь Василий был занят покорением Болгарии, царь Георгий, воспользовавшись удобным моментом, вторгся на территорию, которую его дядя Давид Куропалат уступил кесарю, и завладел там крепостями и областями. Кесарь тем временем завоевал Болгарию (1019) и вернулся в Константинополь. Но Георгий не посчитал нужным раскаяться и, подобно отцу и дяде, выразить свою верность кесарю. Он возгордился и упорствовал в своем грехе. Потом затеял переписку с халифом ал-Хакимом по поводу совместной борьбы против кесаря с тем, чтобы одновременно отправиться в поход против Византии. Узнав об этом, Василий страшно разгневался и, никому не открывая своих замыслов, выступил из Константинополя в сторону Филомиля. Объявив, что идет походом на Сирию, он отправил продукты и вооружение в Антиохию, и никто не усомнился в правдивости его слов. Во время пребывания кесаря в Филомиле без следа исчез ал-Хаким (13 февраля 1021 года), и Василий неожиданно повернул к Грузии. По словам Яхьи Антиохийского, мощь кесарева войска заставила отступить назад подготовившегося к войне Георгия. Византийцы сожгли села, разорили области, принадлежащие Георгию, взяли в плен, ослепили, лишили жизни двести тысяч (!) его подданных. Подробно рассказывает арабский историк и о последующих событиях, о затянувшихся мирных переговорах, которые закончились тем, что грузинский царь выразил свою покорность кесарю. Византия вернула отнятые им города и крепости, а малолетний сын Георгия был взят Василием в Константинополь заложником.

Более подробно, можно сказать, более эмоционально поведал об этих событиях армянский историк XI века Аристархэс Ластивертци. По его словам, кесарь Василий прислал



вступившему на трон Георгию повеление следующего содержания: «Земли, которые я даровал твоему отцу из доли Давида Куропалата, оставь в покое, правь только своим Отечеством». На что Георгий со свойственной молодости гордыней отвечал: «Из того, чем владел мой отец, я не уступлю никому и одного дома». Василий послал в Грузию войско, но грузины у местечка Ухтики разбили византийцев. Армянский историк описывает еще одну битву (1021): «Войска встретились у озера Палакацио и с ужасным грохотом схватились друг с другом. Поэтому, когда сверкали мечи и блестели забрала, искры огня покрывали горы». Кесарь Василий был поражен бесстрашием грузин, «которые, подобно скале, разбивающей поток реки, разгромили войска ромеев (т. е. византийцев) и заставили их повернуть вспять». Как передает армянский историк, кесарь послал войска во все четыре стороны со строгим приказом: «Не щадить ни стариков, ни молодых, ни юных, ни взрослых, ни мужчин, ни женщин». Были сожжены, разрушены и разорены царские дворцы и храмы, жестокость кесаря-христианина производит ужасное впечатление, она ничем не отличается от грядущего варварства турок, сельджуков и монголов: «Грудных младенцев, иных отрывали от материнской груди и ударяли о камни, иных же пронзали копьем прямо на груди у матери, смешивая материнское молоко с кровью младенцев; иных же бросали под копыта коней».

Как арабский, так и армянский историки сообщают о заговоре против кесаря Василия, в котором, якобы, принимал участие и Георгий I. По словам Яхьи Антиохийского, в 1022 году кесарь отсек голову мятежнику Никифору Фоке и послал ее в дар Георгию I, согласно же грузинскому источнику, возмущенный коварством Георгия кесарь повелел прикрепить к острию копья данное грузинами письменное обещание и вынести на всенародное обозрение.

Профессор Валериан Габашвили писал: «Переговоры между Грузией и Египтом, возможный военный союз между этими двумя странами на время приостановил византийскую экспансию. Это подтверждает и тот факт, что кесарь Василий начал войну против Грузии в 1021 году, и то лишь после смерти ал-Хакима. Грузия таким образом потеряла потенциального союзника».

Несмотря на одно или два выигранных сражения, Георгий I был вынужден покориться судьбе и в 1023 году заключил мир с кесарем. Взаимоотношения Византии и Грузии времен-



но перешли в мирное русло. Но владения Давида Куропалата — Тао, Кола-Артаани и Джавахети — оставались за кесарем.

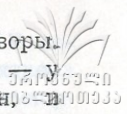
Вот какие события предшествовали периоду, нашему отражение в романе Константина Гамсахурдиа.

...Антивизантийская политика Георгия I не имела поддержки ни у католикоса Грузии, ни у царицы, которые, будучи рабами веры, считали византийского кесаря не первейшим врагом Грузии, а владыкой христианского мира. Повсюду им чудилось «язычество», они всячески старались насадить чуждый грузинскому характеру аскетический дух. При царском дворе только тогда вспоминали об охоте и пирах, джигитовке и конных играх, когда царица и католикос временно покидали дворец.

Проект храма Светицховели Фарсмана Перса был отвергнут, потому что представлял собой смешение грузинского язычества, иранских и античных мотивов. Католикос вызывает зодчих из Византии. Но «зоркий глаз Георгия» тут же подметил, что принятие этих планов предвещало возврат к тому влиянию, которое грузинское зодчество преодолело два столетия назад. Образы судного дня и ада угрожали с фресок человеческим страстям. На купольном своде был изображен «бесплотный назаретянин». Но крайнее возмущение Георгия I вызывает фреска, на которой венценосный кесарь Василий вручает ключи святым отцам, посланным для обращения Востока, тот самый кесарь Василий, которого наряду с сарацинами называли «собакой» грузины, армяне и болгары; тот самый кесарь Василий, который в 1014 году ослепил 14000 болгарских пленников и отправил на родину в сопровождении ослепленного на один глаз на каждую сотню.

Георгием I владеет неприкрытая, откровенная ненависть к великому соседу. «Мне ненавистно все византийское», — говорит он своему двоюродному брату Гиршелу. Презирает он и нравы и обычаи византийцев, их догматические споры, ненавидит греческий язык («Георгий владел греческим и арабским, но никто во дворце ни разу не слышал и слова, сказанного на чужом языке»); с неприязнью смотрит он на византийских гостей, приехавших на освящение храма; приглашенные на обед, они поглощают грузинские деликатесы, не забывая расспросить о рецептах их приготовления. «Откормленные византийские архиереи буквально состязались с краснощеками грузинскими епископами», — саркастически замечает писатель. И тут же добавляет: «Сам царь ел без охоты».

Особенно ярко проявляется ненависть Георгия I к Визан-



тии в одном из его монологов: «Вообще византийцы — воры. Веру украли у евреев, язык — у древних греков, Цетиний — у болгар, у армян — Ани, земли за Басиани — у грузин, только совесть ни у кого не смогли вырвать, потому что ни в чем подобном они пока не нуждаются!».

Курьезный оттенок имеет история с зеленой колесницей, которую кесарь Василий даровал в свое время Баграту вместе с титулом Куропалата. Георгий I ненавидел и эту колесницу. В юности он возил в ней охотничьих собак, из-за чего его пожурил католикос. В конце концов ее бросили в Уплисхском дворце как ненужную вещь.

Еще одна комическая деталь: своего гонца-великана, которого епископ Мцхетский нарек при крещении греческим именем Анаксимандр, Георгий I называл Пипой. Этот самый Пипа по фамилии Ушишараисдзе\* оказался единственным слушателем последней исповеди царя. И перед смертью Георгий I не может не говорить о том, что мучило его всю жизнь: «Наши глупые дворяне и обжоры-епископы всегда лебезили перед византийцами, а цари обожали зеленые колесницы и византийские титулы».

В этом смысле мятежные, непокорные грузинские феодалы мало чем отличаются от Георгия I, они, вероятно, считали, что могут положиться на византийцев в своей борьбе против грузинского царя. (Недаром кесарь Василий наградил Чиабера золотым шлемом и званием архегоса\*\*). Но и они не могут примириться с политической и культурной экспансией Византии. Вот что говорит Шавлег Тохаисдзе: «Греки хотят, чтобы мы забыли свое прошлое и знали бы только их историю, чтобы мы сбросили свои одежды и носили их одеяния. Стоит нам перестать молиться их богу и заговорить о наших богах, как они начинают обзывать нас еретиками, язычниками и лазутчиками». По его словам, Константинополь — «прогнивший город... очаг разврата и коварства», где грузинские цари учатся у кесаря ослеплять своих подданных, заживо хоронить их, вздергивать на дыбу, травить, отсекают руки, подсылать убийц и т. д. С издевкой вспоминает он церковные собрания, проходившие параллельно с военными приготовлениями кесаря, на которых все духовенство Византии и ее ученые мужи в течение двух месяцев буквально сражались друг с другом, пытаясь установить, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы!

\* Ушишари — бесстрашный.

\*\* Архегос — князь.



Может показаться странным столь выраженный антивизантийский пафос «Десницы великого мастера», особенно если учесть известные всем факты византийско-грузинских культурных взаимосвязей.

Не мешало бы, на мой взгляд, подкрепить его информацией из научных трудов, выявивших наиболее характерные детали пестрой картины византийской жизни.

Деспотический режим Византии держался на идеологической муштре ее подданных, которую осуществляли церковь и вся официальная пропаганда. Политически благонадежным и морально чистым считался только тот, кто безоговорочно подчинялся кесарю, церкви и высшей или низшей власти.

Кесаря в Византии обожествляли как избранника божьего, и не было страшнее преступления, чем «оскорбление Его Величества». Но если, случалось, кесаря свергали, никто не хулил занявшего его место. Кесарь жил в сказочной роскоши. Обожествление подчеркивало пропасть между ним и его подданными. Он являлся народу в сопровождении блестящей свиты и вооруженной охраны. На пути его следования стояли толпы народа, громко кричавшие приветствия, пожелания долголетия на благо страны. И сам кесарь без конца подчеркивал свою неутомимую заботу и тяжкий труд во благо народа. Летописец мог подвергнуть резкой критике личность и деятельность кесаря лишь спустя много лет после его смерти, о живом кесаре смели отзываться неуважительно только в кругу семьи или в беседах с близкими друзьями. На людях — на площадях и улицах — кесарю пели хвалу: сочиняли гимны и дифирамбы.

Каждый кесарь, взойдя на трон, собирал вокруг себя своих приспешников. Среди баловней судьбы царили лесть и рабское подчинение повелителю, в среде же неудачников — зависть и желание любыми средствами свалить более удачливого соперника. Кесарь обычно распоряжался судьбой своего подданного, как ему заблагорассудится, но бывали случаи, когда он вынужден был оправдывать репрессии соответствующими мотивами. Поэтому перед арестом какого-нибудь чиновника высокого ранга могла начаться демагогическая кампания с участием преданных подчиненных или одержимых карьеристскими соображениями лиц. Клевета и доносы были весьма распространены в Византии. Вслед за доносом незамедлительно следовал арест и, как правило, пытки, затем — смертный приговор или же высылка, которой подвергались и члены се-

мы подсудимого, а порой и дальние его родственники. В качестве места для ссылки избирались заброшенные острова или малонаселенные пункты. Имущество «преступника» конфисковывалось в пользу казны, кесаря и доносчика. Здесь же следует подчеркнуть то обстоятельство, что государственная теория и практика в Византийской империи резко разграничивались друг от друга. Так, например, по закону все были равноправны перед судом, но бедняку крайне было трудно добиться справедливости. По закону взяточника ждало строгое наказание, на деле же мздоимство не преследовалось и взяточник жил себе припеваючи.

Философы того времени грезили о всеобщей справедливости в Византии, но свои надежды они связывали не с кардинальными реформами, не с изменениями в структуре власти, а с моральными качествами государственных деятелей. Они мечтали об идеальном кесаре, который был бы щедро награжден такими достоинствами, как доброта, мудрость, храбрость, целомудренность и т. д.

До конца XII века Византия представляла собой многонациональное государство. Христиане различных племен, жившие в пределах империи, даже те, кто не знал греческого, считались «ромеями», как и греки по происхождению. Идея единого, монолитного государства провозглашалась бесспорной истиной. Усердно проводилась политика поправки самобытной культуры покоренных народов и насаждения византийских нравов и обычаев. Однако насильственные методы вызывали взрывы национально-освободительного движения, и вместо процесса консолидации ускоренными темпами шел процесс этнической дезинтеграции.

Иностранные деятели, которым приходилось встречаться с византийскими дипломатами и придворными, считали, что коварство и высокомерие, лицемерие и корысть, столь характерные для последних, присущи всем жителям империи. Вероятно, этим можно объяснить горькие слова, вырвавшиеся у одного византийского историка XIII века: «Не зря мы прокляты всеми народами!». Внешние войны Византия вела под лозунгом: «Борьба за освобождение христиан». Вместе с тем военные силы империи должны были усмирять внутренних врагов, а их было немало: узурпаторы, посягавшие на императорский трон, крестьяне-бунтари, горожане-мятежники, инородцы, пытавшиеся отделиться от империи. Недаром один из императоров заявлял: «Армия для государства — то же, что голова



для человека. Надо постоянно заботиться об армии, дабы существованию самой империи ничто не грозило».

Естественно, вышеприведенный материал о Византии определенной степени односторонний, но в тексте и подтексте романа Константинэ Гамсахурдиа читается именно эта, вторая сторона медали, писатель намеренно пренебрег ее блестящей стороной, хотя ему были прекрасно известны позитивные моменты византийско-грузинских отношений.

Как видно, в создании конфликтов, территориальных споров немалую роль играло различие в психологических структурах единоверных византийцев и грузин. Очень интересные рассуждения по этому поводу католикаса Николоза Гулаберидзе, жившего в эпоху царицы Тамар.

О психологической несовместимости соседей лаконично и образно высказался Геронти Кикодзе: «Мы не раз протягивали руку византийцам, но разве могли они до конца постичь нас? Мы были юными, они — старцами, мы были рыцарями, они — придворными, мы любили живую веру, они — теологию, мы любили живую жизнь, они — отвлеченную абстракцию».

Свет, идущий с запада, нес с собой столько тени, что человеческий глаз с трудом различал сам источник света.

...Разве непонятно, почему герой романа Константинэ Гамсахурдиа ненавидит все византийское?! Читатель не сомневается, то же чувство обуревало и исторического Георгия I.

По словам Иванэ Джавахишвили, Византия использовала православие как орудие для утверждения своего политического господства. Может быть поэтому в «Деснице великого мастера» Георгий I, ненавидящий византийцев, порой теряет интерес к христианству. Мамамзе Эристави говорит в романе: «Царь Георгий не верит ни в Христа, ни в его крест». Он вспоминает, как после поражения в бою с византийцами грузины отступали и по пути сожгли Олтиси. Георгию доложили, что горит божий храм. Он повелел потушить пожар и, наклонившись к Мамамзе, сказал: «О, кто знает, существует ли в самом деле Бог?». Да и сам автор романа несколько раз замечает: вера Георгия была поколеблена.

Но и царь Грузии, подобно византийскому кесарю, придавал христианству политическое значение, и в его борьбе против восставших горцев-язычников крест выступает в качестве карающего оружия.

«Жестокий и коварный царь» — так охарактеризовал один из критиков выведенного в романе Георгия I.

Насколько точна и справедлива подобная характеристика?

Ведь и иные герои романа плохо отзываются о Георгии: Шавлег называет его «жестокосердным», Мамамзе Эристави — «спесивцем», Константинэ Арсакидзе — «необузданным» и «жестоким». То же повторяет и Шорена. Нет, никто из них не ошибался. Да, он был жестоким человеком. Одержимый любовной страстью, он убрал с дороги своего двоюродного брата Гиршела. Его убили во время приступа замка Корсатевела, и Георгий, узнав об этом, не сомкнул ночью глаз: вспоминал годы юности, проведенные вместе с Гиршелом — как они гонялись за бабочками в цветниках, ставили силки для птиц в садах, лазали по фруктовым деревьям и, сидя верхом на ослах, вооруженные кнутовищами, воображали себя рыцарями в кольчуге. Но счастливая пора юности осталась позади и, когда Георгий вел по «саду радости», превратившегося в «сад печали», вернувшегося из мусульманского плена Гиршела, он вдруг заметил (или ему показалось?), что груши в объятых омел, ветви персика засохли, а ореховые деревья изъедены дуплами. И природа как бы увядает вслед за чистыми юношескими чувствами. Георгий вспоминает самый светлый отрезок своей жизни, тесно связанный именно с Гиршелом, но выплывшая из мрачных глубин души ужасная тайна вспугнула эти мысли, и, содрогнувшись, он вынужден был признаться самому себе, что рад смерти двоюродного брата. В своей последней исповеди, каясь перед гонцом, он уже вслух сознается в совершенном преступлении: «Наглотавшись опиума, спьяну, позволил я пховцам убить Гиршела, сына брата моей матери».

Жертвами любовной страсти царя становятся мастер Константинэ и Шорена. Ну, а о жестокости, проявленной к мятежным феодалам, и говорить не стоит.

Георгий I — обыкновенный человек. Сознание собственной огромной власти поставило его в необычные условия. Писатель щедро наградил его мужскими «грехами»: он любит выпить, курит опиум, равнодушен к женскому полу, имеет наложниц. Одним словом, ничто человеческое ему не чуждо. А Шорену он любит самозабвенно.

«Жестокосердный» и «безжалостный», он иногда проявлял и добросердечие. Его тронули слезы Мамамзе, оплакивавшего сына, которого отравили по его же приказанию. Писатель убеждает нас, что в этот миг Георгий действительно сожалел о смерти Чиабера. А когда он услышал рыдания дядьки Чиабера, слепого Такая, «сердце Георгия сжалось. Он обнял Мамамзе и даже заплакал». Неусыпный враг Георгия Шавлег Тохаисдзе дает этому такое объяснение: убийцы, как пьяницы,



упившись кровью, охотно проливают слезы. Никто не верит ни в искренность его слез, ни в его благородство. И может быть, они правы. Жестокосердность или наоборот добросердечие царя всегда продиктованы обстоятельствами. Бог и дьявол постоянно борются друг с другом в его душе. В какой-то миг он готов пожалеть о смерти заклятого своего врага и обрадоваться гибели двоюродного брата, друга своей юности. Подобные парадоксы рисуются в романе с большой психологической достоверностью и точно соответствуют конкретным обстоятельствам.

Задаемся вопросом: что представляют собой антагонисты Георгия I, второстепенные персонажи романа, галерею впечатляющих образов которых представил писатель? Вспомним хотя бы лицемера Мамамзе Эристави, посланного Чиабером на разведку и бесстыдно клянущегося царю в верности; или Шавлега Тохаисдзе, задумавшего отравить вином царя, гостившего в замке Корсатевела, но в решительный момент струсившего — пусть другой таскает каштаны из огня; или корыстолюбивого Талагву Колонкелидзе, который в надежде стать зятем царя уже не интересуется своими сообщниками; или осмелевших от пива пховцев, угрожавших царю Георгию и спасалару Звиаду повесить их на колокольне. Борьба этих людей с централизованной властью обречена на провал. С уверенностью можно сказать, что поражение слабых в борьбе с сильными не всегда означает, что они пострадали безвинно. Мятежники-изменники в тысячу раз грешнее царя, преступавшего законы нравственности и человеколюбия, поскольку они противостояли единству Грузии, т. е. изменяли Родине.

В романе акцент делается на внутренней политике Георгия I, лейтмотив которой — пресечь феодальный сепаратизм (впрочем, в одном месте подчеркивается, что «царь ненавидел внутренние войны, как чуму»). Не исключено, что писатель руководствовался известным положением Иванэ Джавахишвили: «Новая политика византийских кесарей была опасной для грузин; и все же не внешний враг представлял угрозу для Грузии, не он препятствовал ее усилению. Грузия слабела от внутренних войн между царями и знатными дворянами».

Военный союз исторического Георгия I с халифом ал-Хакимом побудил писателя наградить обоих героев некими общими чертами. Когда Георгий, выкрасив бороду хной и переодевшись в платье простого смертного, отправляется на охоту, Гиршел, побывавший в Египте, изумленный, уставился на царя: «Знаешь, Георгий, ты мне удивительно напоминаешь ал-

Хакима. У него была такая же рыжая борода. Сарацины при-  
няли бы тебя за его родного брата».

Халиф Египта ал-Хаким, по словам выдающегося араба  
ста В. Розена, прославился своей невиданной жестокостью, с  
которой он обрушивался как на христиан и иудеев, так и на  
мусульман - суннитов или шиитов. Ал-Хаким был весьма экс-  
центричной личностью. Он мог прогуливаться по улицам и ба-  
зарам столичного города в сопровождении блестящей свиты  
или скитаться в одиночку в пустынных ущельях Мукатамской  
горы. Он ходил то в пышных белых одеждах, то в платье из  
грубой черной шерсти, которое не снимал, пока оно не пре-  
вращалось в рубище (было время, оказывается, когда он в те-  
чение семи лет не был в бане). То он карал смертной казнью  
безвинных и виноватых, то одаривал несметным богатством  
изувеченных по его же приказу людей. То он упразднял церемо-  
ниал приветствия государя, принятый на Востоке, то провоз-  
глашал себя богом и требовал от подданных соответствующего  
почитания. Никого ни во что не ставил и однажды осмелился  
даже изменить слова молитвы: вместо «Во имя Аллаха, ми-  
лостивого, милосердного...» велел говорить: «Во имя ал-Хаки-  
ма...», что вызвало возмущение правоверных.

Возможно, Георгий I, выведенный в романе Константинэ  
Гамсахурдиа, следует примеру упомянутого ал-Хакима или баг-  
дадского халифа, когда в одежде простолюдина скитается по  
горам и долам, но эти эпизоды написаны мастерской рукой,  
и у читателя не возникает сомнения в достоверности описы-  
ваемых событий, ему кажется, он и в самом деле видел где-то  
Глахуну Авшанисдзе, которого, казалось, запомнил навеки.

Георгий I естествен и непосредствен только тогда, когда  
в сопровождении преданных друзей покидает дворец с его  
бесконечными церемониями надоедливых приемов, строгим эти-  
кетом придворных порядков, однообразными внушениями  
царицы или католикоса. Вдали от дворца он уже не Георгий I,  
а Глахуна Авшанисдзе. Эти его временные перевоплощения в  
обыкновенного крестьянина неслучайны. Истинный сын своего  
народа Георгий, устав от тяжести царского венца, мечтал об  
участи простого человека. Глахуна Авшанисдзе не боялся, что  
сапожник Китеса поднесет ему в роге отравленное вино. Он  
безропотно сносит брошенное попутчиками-пховцами: «собака—  
царь Георгий», а потом шутит по этому поводу с друзьями:  
переодетому царю, наверное, и не такое приходится слушать.  
Сражавшийся с византийским кесарем, он не гнушается выйти  
на храмовом празднике против подвыпившего Годердзи Калун-



даури. Еще более естествен и непосредствен царь в своей конюшне, когда гладит за ушами своих лошадей, треплет им гриву, целует в глаза, шепчет ласкательные слова. «Эти кони были покрыты рубцами от ран так же, как и тело их молодого хозяина», — замечает писатель. Боевые кони принимают ласку Георгия как должное, ржут, фыркают в знак удовольствия. Именно в этот момент у него вырывается признание: «Тебе говорю, Гиршел, если эриставы свергнут меня с престола, пойду в конюхи, буду смотреть за лошадьми — это даст мне величайшее счастье».

Картина, открывающаяся царю в доме крестьянина, говорит о многом. Вокруг царит нищета, на стенах висят доскутья грубой домотканной шерсти, в углу валяются изодранные подушки. Мальчуган заливается плачем, который переходит сперва в икоту, затем в звонкий коклюшный кашель. Женщины накрывают на стол, не обращая на него никакого внимания. Глахуна Авшанисдзе подходит к мальчугану, прикладывает палец к его подбородку и пытается его успокоить: «Ну все, все!» Он сердечно относится к безгрешным детям, лошадям, собакам («Да, собака очень преданное животное... а вот мы, люди, несчастные создания, для спасения собственной жизни часто предаем верного нам человека», — со значением говорит Георгий некогда близкому ему, но потом ставшему врагом Мамамзе).

Почему мы симпатизируем этому персонажу? Почему забываем о его коварстве и непростительных грехах? Почему нас волнует его человеческая трагедия, когда он сам — причина трагедий многих людей, когда он так безжалостен и к врагам, и к друзьям?

Не говоря уже о другом, писатель именно ему приписал отсечение десницы зодчего, о котором говорится в народном стихотворении. Неустановленный и весьма сомнительный с исторической точки зрения факт оказался воспринятым читателем как непреложная истина, хотя из научной литературы известно, что строительство храма Светицховели закончилось в 1029 году, и вскоре после этого, как видно из надписи, последовала смерть самого зодчего. А Георгий I умер, как свидетельствуют грузинские источники, 16 августа 1027 года. Но мы уже сжились с романной интерпретацией и верим в ее реальность как в одну из версий исторической вероятности. Разве не удивительно, что нам одинаково близки и жертва несправедливости, и ее палач? Как совместить любовь к неукро-

тимоу защитнику независимости Грузии с ненавистью к царю-злодею?

Не так-то легко ответить на эти вопросы. Кто знает, может быть, определенную роль в этом нашем двойственном отношении к нему, в странном и до конца не понятном сплетении симпатий и антипатий играет психологический атавизм? Преклонение перед сильным и почитание силы — непостижимые симптомы как бы врожденной аномалии человеческой психики.

Безусловно заслуживает внимания корректив, внесенный Константинэ Гамсахурдиа в народный стих. Талантливое зодчего наказывают отсечением руки не за творческую победу (вспомним триумф Арсакидзе при освящении храма). Если в легенде обвинение звучит: «почему построил хорошо?», то в романе оно видоизменяется на формальное: «почему построил плохо» и призвано замаскировать страсть царя, «доведенного Эросом до неистовства». Писатель, правда, заимствовал из легенды факт отсечения руки зодчему и связал его с интригами Фарсмана, но выдвинул свою, отличную от легенды, и гораздо более убедительную версию о причине наказания.

Георгий I, романский персонаж, — отнюдь не идеальный герой, которому надо подражать, но он удивительно близок читателю своей человеческой сутью, пороками и минутными слабостями.

Нельзя без волнения читать его исполненные искренности слова, сказанные в последние минуты жизни: «Во многом я грешен и как царь, и как человек. Почти все достоинства и все недостатки моего народа носил я в себе, был и храбрцом, и трусом, боролся с кесарем и боялся корней плюща, был спесивым и любил выпивать, но своему народу никогда не изменял». Последняя фраза — кредо всей жизни Георгия I, основной нерв его деятельности. Потому и пленяет нас образ грузинского царя, рожденного несравненным рыцарем, бросившего вызов победоносному властителю огромной империи. Грузинские летописцы награждали грузинских царей блестящими эпитетами, порой нам даже режут слух высокопарные и стереотипные дифирамбы, которые произносятся в их адрес, но ни один царь не удостаивался такой оригинальной и достойной зависти характеристики: «Бесстрашный, как если бы был бесплотным».

В «Деснице великого мастера» не говорится о любви народа к Георгию I, но позицию народа, вероятно, выражает достойный его представитель — зодчий Арсакидзе. Вот, что



он говорит Шорене, готовой возглавить мятеж горцев против царя: «Я не славословлю ни царя Георгия, ни католика Мелхиседека, но я не думаю, чтобы семь хевисбери могли бы создать более справедливые законы, чем один царь, хотя бы и злой. Что касается меня, то я подчиняюсь тому строю, который дан в удел моему народу, я уверен, ни один народ не достоин ничего лучше того, что сам уготовил себе. Поэтому если завтра греки или сарадины обложат крепости Грузии, я брошу резец ваятеля и с мечом в руке пойду сражаться с ее врагами. Идеального строя не существует, от ваших хевисбери все еще несет овцами и, ты знаешь, если во главе стада не станет баран, глупые овцы сорвутся в пропасть».

Этот дух пронизывает всю долгую и тяжелую историю Грузии. Трудно сказать, было ли это нашим достоинством или недостатком, но окруженные со всех сторон могущественными странами-агрессорами и неоднократно завоеванные и разоренные полудикими ордами, мы, дети этой страны, за национальными бедами нередко забывали беды социальные.

Георгий I, герой Константинэ Гамсахурдиа, предстает перед нами как неустанный врачеватель «язв народа», и в нашем представлении уравнивается с создателем Светицховели. Оба они являются самоотверженными служителями великой идеи и стоят на голову выше остальных персонажей.

Говорят, историческое лицо не нуждается в доказательности, оно существовало в действительности, и этого достаточно. А убедительность персонажей и определенных обстоятельств исторического произведения целиком зависит от таланта писателя, который должен заставить нас поверить в то, что они действительно существовали и были именно такими, как он их описал.

Георгия I, воскрешенного из мертвых Константинэ Гамсахурдиа, можно смело отождествить с его «двойником», реально существовавшим почти десять столетий назад. Бледная тень превратилась в полнокровную личность, за которой мы с неослабевающим интересом наблюдаем, слушаем, беседуем, сопереживаем ее низменным или возвышенным страстям, то заступаемся за нее, то порицаем, то огорчаемся ее жестокосердию, то гордимся рыцарской душой, оскверненной, увы, безграничной властью.

Это и есть величайшая победа писателя, когда художественная действительность приобретает правдивость и силу исторической реальности, когда «позабытый герой» приближается к нам из глубин прошлого, чтобы соединить разорванную «связь времен».



## ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАБИЛЬНОСТИ

Прозе Тенгиза Буачидзе фатально не везло. Его роман «Дорога в Детство» напечатан на русском языке в журнале «Литературная Грузия» в первой половине 1985 года. Журнал этот издается микроскопическим тиражом (около 5,5 тыс. экз.) — меньшим, чем любой из литературных журналов и уж тем более технических. Этот тираж можно сравнить разве что с тиражами сборников научных трудов, в которых публикуются аспиранты, чтобы иметь нужное для защиты диссертации число научных трудов. Приобрести «Литературную Грузию» в крупном культурном центре так же невозможно, как и «Московские новости». И в то же время благодаря непонятным моему разуму распоряжениям Союзпечати этот журнал можно встретить там, где он заранее обречен на равнодушные читателей: никогда не забуду (собственными глазами видел!), как в 1984 году в одном из глухих киргизских сел, жители которого имели весьма смутное представление как о грузинской литературе, так и о русском языке, штабелями лежали никем не востребованные номера этого журнала.

«Дорога в Детство», пожалуй, первый в советской литературе роман о судьбе детей репрессированных коммунистов, о том, как эти дети жили в годы войны, как они рвались на фронт, чтобы тем самым помочь своим родителям.

С начала 1987 года хлынул поток прекрасных произведений на тему о репрессиях, и эти книги, выходявшие большими тиражами да еще в Москве, заслонили скромный роман Т. Буачидзе.

В августе 1986 года «Литературная Грузия» напечатала повесть Т. Буачидзе «Исповедь, или профессор Сордиа» — о судьбе одного генетика, жившего в годы лысенковщины и покончившего жизнь самоубийством. В это время появились ныне широко и заслуженно известные книги В. Амлинского, Д.



Гранина, В. Дудинцева, и о повести Т. Буачидзе забыли, даже, скорее, не успели ее и разглядеть.

Теперь оба произведения объединены под одной обложкой, но опять не слава Богу: книга появилась в середине 1988 года, в выходных же данных помечена 1987 годом, поэтому по формальным признакам многие столичные журналы вряд ли станут ее рецензировать.

За несколько лет до начала войны над Грузией, как и над всей советской страной, пронеслась волна жестоких репрессий. Ужасы коллективизации в российских областях, на Украине и в Казахстане, о которых так много сейчас пишут, мало, если я не ошибаюсь, затронули грузинское крестьянство. Пострадала в основном грузинская интеллигенция и высшие эшелоны власти. Распри начальства между собою и гибель многих из советских бояр в этих расправах были бы не так страшны, если бы попутно не пострадали миллионы невинных людей (в том числе жен и детей, не имевших к политике никакого отношения)<sup>1</sup>.

В истории человечества такие события повторялись не единожды и, казалось, тут удивляться нечего. Однако пострадавшие в середине 30-х годов были не просто жертвами междоусобиц — они были символами новой идеологии, они жили (во всяком случае на словах) во имя народа, которым клялись и от имени которого вершили суд и расправу. Они хотели построить новое общество, в котором «кто был никем — тот станет всем». Такими представлялись отцы многих героев «Дороги в Детство» — во всяком случае в глазах их собственных

---

<sup>1</sup> Журнал «Литературная Армения» (1988 г. № 6—9) напечатал воспоминания недавно скончавшегося Сурена Газаряна «Это не должно повториться» — на мой взгляд, одно из наиболее полных описаний трагедии, происходившей в Тбилиси в 1937 году. Автор — крупный работник НКВД, репрессированный бериевцами — без художественных ухищрений, просто и искренне описывает свой арест, ожидание расстрела, многолетнее пребывание на Соловках, в Орловском центре и других тюрьмах. Автор оказался одним из очень немногих, чудом оставшихся в живых жертв своих коллег по НКВД. Воспоминания заканчиваются описанием суда над руководителями грузинского НКВД Церетели, Рапава, Рухадзе, Хазаном, Савицким и Кримианом, приговоренными к расстрелу. Суд над этими палачами был первым в Советском Союзе судом подобного рода и произошел он именно в Тбилиси — в городе, жителей которого (в том числе С. Газаряна) мучали эти изверги.

детей: дескать, это идеалисты, которые хотели добра своему народу. И вот их арестовали. Никогда дети уже не увидят отцов, в сознании сыновей и дочерей репрессированные родители являются жертвами несправедливости, бороться с которой в эту эпоху многим казалось бессмысленным. Дети-то знают, что их родители стали жертвами не каких-то высоких материй, не каких-то недоступных разуму обычного человека законов природы — они стали жертвами межклановых ссор, элементарных доносов и предательства. Олицетворением этого кафкианского мира является некто Симон Габгабиа — стукач и негодяй, спекулирующий хлебом с такой же легкостью, с какой он спекулирует высокими идеалами. Страшный мир, в котором невозможно находиться.

«Но мы сыны земли, и мы пришли на ней трудиться честно до кончины...» В этих строках Николоза Бараташвили, написанных в 1837 году, наиболее полно выражено умонастроение грузин: как бы ни было тяжело (а Грузии пришлось перенести за ее многовековую историю много бед и несчастий), надо жить, надо сохранить свою страну, надо преодолеть зло, ведь оно не может быть всеильно и вечно, в обществе сохраняется некая симметрия, некая золотая середина, поэтому зло и добро часто меняются местами, рано или поздно беды сменяются радостями.

Каждое по-настоящему художественное произведение многопланово, в нем много пластов и измерений, в разные годы своей жизни один и тот же читатель, вглядываясь в то или иное произведение, видит в нем разное. Я уже писал\* о сюжетной стороне «Дороги в Детство», о художественной ткани этого мудрого, печального и мужественного романа, действие которого разворачивается в военном Тбилиси. Поэтому не буду вновь возвращаться к этой стороне романа, а остановлюсь на том, что в данное время мне кажется главным.

Одним из героев романа является Тбилиси — древний, но вечно живой город, в котором жили и умирали персонажи Тенгиза Буачидзе. Уходили в небытие тираны и простые люди, а город оставался. Менялись идеи, моды, увлечения, а город всегда жил своей насыщенной, внешне различной, но по существу неизменной жизнью. Поступательность истории, непрерывность и непресекаемость культуры, осознанное, а чаще бессознательное стремление людей сохранить себя в потомках,

\* Дорога мужества. Литературная Грузия, 1987, № 5, с. с. 210—214.



в созданном ими культурном слое — вот что всегда определяло движение духовной жизни народа. Но вот появляются авантюристы (пусть порой благородные и субъективно честные), которые хотят нарушить эту непрерывность, пытаются перепрыгнуть через устоявшиеся, веками отработанные закономерности бытия, причем перепрыгнуть чаще всего не ради пользы сограждан, не ради их реального земного благополучия, а ради собственного честолюбия или реализации своих эфемерных взглядов, которые прежде, чем реализовать, нужно было бы как-то проверить. Фанатизм новых благодетелей человечества приносит лишь зло, большинство из них гибнет в вызванной ими же самими смуте, побеждают всевозможные хамелеоны типа Симона Габгабиа, которые не могут не предавать, ибо рождены лишь для этого. Симоны габгабиа торжествуют и над идеалистами, и над их детьми, и над их противниками.

Одним из героев «Дороги в Детство» является Илья Чавчавадзе (1837—1907) — отец нации, как его называли еще при жизни. Великий просветитель народа, замечательный писатель, неустанно призывавший народ к прогрессу, был убит четверьмя преступниками. Смерть Ильи явилась зловецим предзнаменованием тех бед, которые вскоре обрушились на многострадальную землю Грузии. Кто же убил Илью? В книгах, которые были выпущены и в Тбилиси, и в Москве, указывалось, что зверски убили Чавчавадзе агенты самодержавия. Однако с кем бы я ни встречался, кто бы ни касался в частных разговорах темы смерти Ильи, все и всегда говорили одно и то же: Илья был убит социал-демократами. Так ли это или нет, я не знаю. Пришло время раскрыть тайну гибели великого грузинского писателя. Т. Буачидзе не ставит все точки над *i* по поводу обстоятельств гибели Ильи, но и так понятно, что его убили «свои». Так «свои» убили и отцов Марины Миндели и Давида Мизандари — главных героев романа, убили якобы ради счастья потомков. Истоки того нравственного одичания, при котором все дозволено (как тут не вспомнить Достоевского!), при котором во имя счастья будущих поколений считается моральным уничтожать современников, истоки всего этого — и одно из его проявлений — в трагедии близ Сагурамо, когда был убит Чавчавадзе.

Главные герои романа Буачидзе погибают — Марина умирает от голода и болезней, Давид гибнет при штурме Берлина. Это убитое поколение. Их не убили, когда уничтожали их родителей, но добились потом. Кого физически, кого нравственно. Их заставили жить рядом с предателями, с теми, кто уничто-

жил их родителей, и не просто жить, а восхищаться палачами, каждодневно общаться с ними и не выказывать своего презрения к ним. Страшный мир. Не всякому дано его вынести. Герои же Буачидзе выдерживают: они молоды, у них вся жизнь впереди, они полны силы и любви, однако как печальны их души... Мертвых не вернуть, но живым-то каково!

Мне грустно было читать роман Т. Буачидзе: до того было жалко его героев. Но я читал роман весной 1985 года, когда тема репрессий была запретной. Сейчас же вышло об этом много книг, и как бы они ни были значительны, нельзя забывать, что роман Т. Буачидзе был в этом ряду одним из первых.

Герои романа пришли и уйдут из прекрасного Тбилиси, а город останется. Останется и Кутаиси — на фоне жизни этого замечательного города в начале XX столетия происходит действие повести «Исповедь, или профессор Сордиа». Кутаиси — второй по величине и по значению город Грузии. Тут всегда было много интеллигенции, всегда было много культурных людей, которые хотели добра своему народу. На средства меценатов строились гимназии и богадельни, школы и храмы. По копейке собирались народные деньги, чтобы давать стипендии одаренным людям, учить их в Москве или за границей. Расцвет культуры Грузии в начале XX столетия в значительной степени связан с именами выходцев из Кутаиси, с самой атмосферой кутаисской жизни. Вот в каком городе, в какой среде живут два брата — они ровесники века — Эпифан и Александр (Сандро) Сордиа. Эпифан полон уважения и любви к нетленным ценностям: семье, друзьям, работе, наращиванию интеллектуального и материального потенциала своего народа. Сандро же — мятежная душа, — не приемлет спокойное существование, он революционер — и формально, и фактически. Сандро учится и работает за рубежом, в Москве и в других городах нашей страны; после избиения генетиков, начатого Лысенко и К<sup>0</sup>, Сандро возвращается домой и кончает с собою.

Т. Буачидзе в статье «Исповедь по поводу «Исповеди» («Литературная Грузия», 1986, № 10) отмечает, что книга эта не о генетике, а о человеке, что не нужно искать в ней прототипов, что она сугубо художественна, то есть придумана, хотя, быть может, и оставляет у читателя ощущение строгой документальности.

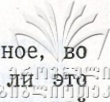
«Исповедь, или профессор Сордиа» в первую очередь книга о путях и перепутьях грузинской интеллигенции XX века, но она затрагивает и такие философские проблемы, решение которых дается между строк, в подтексте, которые выра-



жены в книге не словами, а чувствами. Внешне книга не о спорах ученых, а об их душе, об их совести, об их исклуплении, о покаянии и мужестве. Книга о мировоззренческом кризисе главного героя, ведь все, чем он жил, за что боролся, рухнуло. Не в силах отказаться от своих взглядов, не в силах видеть торжество научной и человеческой лжи, бессовестности, подлости, Сандро покончил с собой.

Но не только к вечной теме противоборства добра и зла могут быть сведены основные идеи книги. Во всяком случае, пишущий эти строки видит смысл рецензируемых произведений Т. Буачидзе в другом. В чем же?

Сандро — сторонник классической генетики, занимающейся неизменяемым и вечным генетическим материалом, благодаря которому сохраняется непрерывность человеческого вида, благодаря которому природа находится в состоянии равновешенности. Даже если и возникают какие-то рывки, они довольно скоро стихают. А чем занимаются противники А. Сордиа, чем, собственно, занимались лысенковцы и что они хотели доказать? Они стремились реализовать некоторые взгляды французского естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка (1744—1829), считавшего, что эволюция может проявляться в скачкообразности, в резком и быстром переходе одного вида в другой. У Ламарка было много взглядов, которые последующая наука подтвердила, но еще больше было спекулятивного. Вот это спекулятивное, полное нетерпения и авантюризма взяли на вооружение лысенковцы. Они хотели в мгновение ока изменить животный мир и считали, что тут все средства хороши. Ничего они не изменили, только шуму наделали много и людей сгубили. Некогда всеильные, лысенковцы сейчас стали символом надругательства над наукой и над человеческой совестью, позорным зигзагом советской истории. Для лысенковщины главное — прервать связь поколений, связь времен, начать новую эру, а чтобы привлечь к себе людей, они используют всевозможную демагогию, обещая золотые горы своим сторонникам. Все это кануло в Лету. Но тут я ловлю себя на некоторых воспоминаниях. Ведь мне много раз вдальбливали в голову, когда я был студентом, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», что наша страна через 7—8 лет догонит и перегонит США по производству продовольственных товаров. С тех пор прошло четверть века или еще больше, а коммунизма как не было, так и нет, и никто о нем ныне уже и не вспоминает. Очереди у магазинов — как за конфетами, так и за другими продуктами — таковы, что трудно предста-



вить, что мы сейчас живем в условиях мира; наверное, во время войны очереди были покорооче. Не результат ли это лысенковщины — только социальной? Обещали народу земной рай те же самые лысенки, а сейчас, когда их обман стал виден, они затаились под флагом борьбы за сохранение своих идеалов. Идеалы идеалами, но ведь ясно, что для реализации идеалов надо трудиться, а не горлопанить, нужно уважать других людей, а не убивать их, нужно думать в первую очередь о детях и внуках, а не о тех, кто будет через тысячу лет (хотя и о них тоже нужно думать). Левацкие настроения, все те левацкие загибы, о которых предупреждал умирающий Ленин, свершились, но только к чему они привели? Да к тому, о чем и писал Ленин. Он, конечно, не мог говорить о каждой очереди или о каждой глупости начальства — Ленин говорил о принципе. Бороться нужно не только с конкретными проявлениями левачества, нужно бороться с самой идеей политического авантюризма, основанной на страсти к разрушению, а не к созиданию.

Она, эта идея — не только во временной победе Лысенко в биологии, приведшей к самоубийству профессора Сордиа, она, эта идея — и в попытках навязать всему миру свои представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо; эта идея привела к вводу советских войск в Афганистан, к преследованию диссидентов и ко многому другому, что происходило на наших глазах, чего мы сейчас стыдимся и от чего лихорадочно отказываемся.

Мир — конструкция стабильная, эта стабильность поддерживается не только биологическими законами, но и социальными. Труд, семья, честь, библейские заповеди, регулирующие человеческие отношения — все это невозможно отменить и запретить. Если эти законы рушатся — гибнут культуры, гибнут целые социальные слои. Если эти законы уничтожают, то многое становится с ног на голову, тогда героями объявляются павлики морозовы, тогда стукачество и взаимоненависть индивидов легко смогут привести общество на грань катастрофы, к краю пропасти. Жить нужно для других, для конкретных других людей — не ради самолюбования. Что бы человек ни делал, он не должен приносить зла близким своим, он не должен думать, что счастье большинства оправдано, если оно построено на несчастье арифметического меньшинства. Чудеса не наступят, если люди не трудятся, не уважают друг друга, если витают в облаках или ищут в чужом глазу соринки, не замечая в своем бревна. Зло и подозрения рождают лишь зло и подозрения — ничего иного.



Наша цивилизация сейчас переживает кризис, она на грани гибели: экологические проблемы, озонные дыры и многие иные опасные явления соседствуют с бесчисленными кровавыми результатами человеческого эгоизма. Не пора ли остановиться в своем эгоцентризме? Не пора ли задуматься? Не пора ли иначе, по-новому, углубленно взглянуть на свою жизнь? Не пришла ли пора нового мышления?

Мне кажется, что обо всем этом и пишет Тенгиз Буачидзе, пишет как прекрасный художник, душа которого страдает от несовершенства людской жизни.

Михаил БУЯНОВ

## НЕИЗВЕСТНЫЙ, КОТОРЫМ МЫ ГОРДИМСЯ

В издательстве «Накадули» вышла книга Вахтанга Джавахадзе «Неизвестный», которая, несмотря на немалый тираж (40000 экз.), сразу же исчезла с полок магазинов. До выхода книги альманах «Гантиади» информировал о ней читателя, и он заблаговременно узнал о ее достоинствах.

Казалось, мы знали Галактиона по его произведениям, воспоминаниям о нем, что публиковались до сегодняшнего дня, но вот прочитали «Неизвестного», и перед нами встала иная личность, иная жизнь, и мы невольно содрогнулись от сознания своей вины перед ним. И я знал Галактиона, встречал его на улицах, в Союзе писателей и вместе с другими помню, как бездушно относились к гениальному поэту. К счастью, читатель и тогда не обманывался на его счет и прекрасно знал истинную цену его поэзии. Так что народ всегда был и будет подлинным судьей человеку и его творчеству. И все же жизнь Галактиона, освещенная под таким ранее не известным нам углом, поразила нас. Я читаю и перечитываю книгу В. Джавахадзе, готов выучить наизусть и не могу найти ответа на вопросы: почему мы не окружили его заботой? Почему травили всю жизнь? Почему до сих пор не сказали правды? Понимаю, множество причин препятствовало этому, и все же мы обязаны

были сделать это раньше. Трудно поверить в то, что говорит Вахтанг Джавахадзе в своем интервью газете «Тбилиси» (30 ноября 1988 г.): «Книга имеет подзаголовок «Апология Галактиона Табидзе». Апология одновременно означает и восхваление, и защиту. К сожалению, Галактион Табидзе и сегодня нуждается в защите...». Не к сожалению, нет, а к нашему всеобщему горю!

Итак, то, что Галактион прожил нелегкую жизнь, мы это знали, но что он жил в такой невообразимой нужде, для нас, читателей, это — открытие. В то же время его архив еще не изучен должным образом, и у нас не хватает смелости сказать правду до конца — нелегко преодолеть инерцию старого мышления.

Приведу еще несколько строк из того же интервью: «Книга знакомит читателя с совершенно неизвестной стороной творчества поэта. Это позволило Мурману Лебанидзе назвать ее «неожиданной книгой». А мне она кажется открытием, которму редко становишься свидетелем. Жизнь почти не балует нас подобными сюрпризами.

И далее: «Переводы из грузинской поэзии полностью зависели от личных контактов (почему зависели? И сейчас зависят! — К. К.), каждого заботило собственное творчество, и потому поэзия народного поэта Грузии оказалась вне поля зрения первоклассных переводчиков. Фактически ее утаили от русской поэзии и постольку — от всей Европы. Сегодня трудно объяснить тот факт, что народный поэт Грузии Галактион Табидзе не был избран делегатом на Первый и Третий писательские съезды. Что касается Второго съезда, он был внесен в дополнительный список делегатов в самый последний момент.

Более того, пять раз проводились съезды писателей республики, но ни разу Галактион не был избран членом Президиума правления...

В 1941 году была учреждена ежегодная государственная премия — высшая награда Мастерам. Десять раз ее присуждали грузинским писателям, но народного поэта Грузии ни разу не посчитали достойным ее».

Вахтанг Джавахадзе — оригинальный талантливый поэт, и нет ничего неожиданного в том, что он написал такую книгу. Правда, книгу признали «неожиданной», но имелся в виду ее характер. Именно в таких произведениях мы нуждаемся — беспристрастных, смелых, оригинальных. По моему глубокому убеждению, «Неизвестный» Вахтанга Джавахадзе не уступает





по своим достоинствам его поэзии. Эта книга — безусловно, явление в нашей литературной жизни, представившее В. Джавахадзе в новом свете. Разве это не героизм — на протяжении десятков лет по строчкам собирать материал для книги и написать ее так, что она стала достойной величия Галактиона.

Что-то не припомню, знали ли мы раньше Галактиона как художника? И это — открытие! В его рисунках сквозит судьба великого поэта, его судьба и поэзия.

Переворачиваешь последнюю страницу книги и невольно восклицаешь: о горе нам! Но стоит только проследить внутренним взглядом годы, которым предстоит пройти, как перестаешь хмуриться и вздыхаешь с облегчением: с годами ценность «Неизвестного» будет расти. Название книги полностью соответствует ее содержанию, но после знакомства с нею он теряет свою первоначальную силу, поскольку «неизвестный» становится до странности родным человеком, чью жизнь мы до сих пор плохо знали. Поэтому нас гложет раскаяние и стыд от того, что мы так грешны перед ним. Для наших потомков он уже не будет неизвестным, и в этом заслуга Вахтанга Джавахадзе, его талантливой книги. Когда поднимают целину, труднее всего проложить первую борозду, плуг проверяется на этой первой борозде.

Вахтанг Джавахадзе сказал нам правду, горькую правду. Мы еще не привыкли смело говорить то, что думаем, и очень страдаем от этого.

«Как бы горька ни была правда, молодежь должна знать о ней! Это необходимо хотя бы потому, что если Провидение явит нам второго Галактиона, мы с большей чуткостью и любовью отнесемся к его избраннику».

В этом назначение и достоинство этой книги.

Остается добавить, что Вахтанг Джавахадзе получил за своего «Неизвестного» премию Совета Министров Грузинской ССР за 1988 год.

**Карло КОБЕРИДЗЕ**



## ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ

В журнале «Мнатоби» опубликована четвертая заключительная книга романа Отиа Иоселиани «Черная и голубая река». Перед нами итог долгого и мощного творческого усилия, большое многоплановое полотно о Грузии времен Великой Отечественной войны, роман-река, вобравший в свое русло широкий поток жизни с его заводами, порогами и стремнинами, слепым, грозным половодьем и неторопливым возвращением в берега. Похоже, что жанровая природа произведения произвольно отразилась в названии.

Журнальная рецензия не позволяет охватить событийный ряд четырехтомного, плотно написанного романа, да это и не нужно. Остановлюсь на том, что представляется наиболее существенным, что задело меня и побудило взяться за перо.

Главной ценностью для О. Иоселиани всегда была живая жизнь — во всех ее проявлениях. Герои его ранних произведений — от Левана и Гогиты до Минаго и Агабо Богверадзе — беззаветно, с отвагой и мужеством защищают и пестуют жизнь, противостоят разрухе, упадку и смерти. Но никогда жизни не угрожала такая опасность, никогда смерть не была так сильна и зловеща, как в годину войны. В «Черной и голубой реке» отразилось противоборство двух начал. Смертельная опасность обострила инстинкт жизни. Писатель говорит нам, что война, ее разрушительная, смертоносная сила проникает всюду, не делая различия между фронтом и тылом (эта мысль прозвучала еще в «Звездопаде») и находит жертвы как на передовой, так и за тысячи километров от нее. И еще: с войны никто не возвращается; то есть, даже уцелевшие в мясорубке фронта возвращаются другими людьми. В этих смысловых точках естественно фокусируются все эмоционально-смысловые линии романа. Лишь отдельные штрихи и эпизоды кажутся притянутыми к ним и подчеркнутой экспрессивностью выдают свою функциональность и «волевое вмешательство» автора.

Роман рассказывает о семье сельского учителя Парны Амаглобели. В интересной статье о творчестве писателя И. Борисова пронизательно заметила, что «Парна нужен автору не



в качестве персонажа, комментирующего и осмысляющего Грину на войне. В Парне гнездится завязка этого произведения, повествующего о войне, как о событии, в котором реализовались противоречивые силы, скопившиеся в человечестве».

Жизненные коллизии, через которые проходят четверо сыновей деревенского философа и историка, их судьбы на фронте и в тылу в пересечении и скрещении с десятками других судеб составляют сюжет, повествовательную канву романа. Если упростить все до схемы, можно сказать, что сыновья Парны — это четыре «зонда», запущенные в жизнь.

Старший сын — застенчивый, честный, немногословный заика Леон, уходя на фронт, оставляет на попечение родителей беременную жену. В высшей степени мирный по натуре и по роду занятий, Леон долго не может приспособиться к армейскому укладу и окопному быту. Вместе со своим фронтовым другом Мишей Афанасенко и сотнями других отступающих солдат, а также местных жителей, он оказывается заточен в крымские катакомбы — один из центров сопротивления в тылу врага. Страницы, посвященные гибели подземного гарнизона (фашисты отравляют их газами), — одна из эмоциональных кульминаций романа. Писатель делает нас свидетелями страшных подробностей агонии. Когда зрелище становится истине непереносимым, в бредовое, гаснущее сознание задыхающегося Леона, как струя прохладного воздуха, проникает видение Сашки Бессмертного — одиннадцатилетнего крымского Гавроша: Сашка говорит Леону, что его зовет Миша Афанасенко, и обещает вывести на волю, к погибшему другу; и вот они уже в скользящем полете несутся по подземелью, и странно было, что там, где не водились даже летучие мыши, «...в узких штольнях, они летели не друг за другом, а плечом к плечу (не взмахивали вытянутыми вдоль тела плотно прижатыми крыльями)». Но даже мудрый Сашка не сразу находит лаз из преисподней. «И они долго летали под бесчисленными низкими и высокими сводами и, наконец, нашли отверстие, разлом, пробитый бомбой, там, где убили Мишу, между осыпавшихся камней вырвались наружу и, не коснувшись обломков, нигде не ступив ногой, взмыли прямо в укуванное звездами небо.

Сашка был прав: Миша ждал их там.

Но не один только Миша, а все, без исключения все, кто вместе с ними столько страдал в подземелье».

Второй сын Парны — Ватути, любимчик матери, внутренне чуждый отцу, не был призван из-за хромоты. Эпикуреец

и прагматик, он максимально использовал сложившуюся конъюнктуру и, не успев получить диплома врача, возглавил большой военный госпиталь. Циничный и беспринципный, он быстро продвигается по служебной лестнице, но ради самооправдания и для очистки совести всегда готов исполнить родственный долг, помочь братьям и отцу, таким нелепым и непрактичным.

Третий — скептик и умница Бакури наблюдает за всем происходящим как за грандиозным спектаклем, поставленным зловещим и могущественным режиссером, презирующим человечество. Вместе со своим односельчанином Бесо Кинцурашвили и остатками разгромленной дивизии он выбирается из окружения, получает отпуск по ранению и ненадолго попадает домой; затем снова возвращается на фронт, оказывается в плену, в немецком концлагере, а заканчивает войну на ферме у некоего Герхарда Майера, слависта и почитателя Толстого, служившего на фронте переводчиком и спасшего ему жизнь. Кроме обязанностей рабочего фермы, Бакури утоляет инстинкты невезучей и некрасивой дочери своего покровителя, обильной плотью и страстями Греты. Он возвращается из плена физически искалеченный и морально опустошенный с твердым сознанием того, что человечество, не способное справиться со своей жестокостью и прервать цепь страшных бедствий, не имеет права на существование. «Что ж, по-твоему, делать? — растерянно спрашивает сына Парна. — Отказаться от потомства?!» И слышит в ответ: «Да. Отказаться».

И, наконец, младший сын, общий баловень и любимец, мечтательный, чистый, талантливый Мамука. Он захвачен первой любовью, не оставляющей места для других переживаний. Он ошеломлен и потрясен первой близостью с любимой. Но начинается война... И в переполненном эшелоне, и в солдатской казарме, оборудованной в конюшнях старинного конного завода, и на марше в степи, и даже на дне окопа он умудряется выгородить свой уютный теплый мирок, освещенный и согретый своим маленьким солнышком — веселой, порывистой Тэклой, бесконечно любимой и родной... Но война сметает и не такие выгородки! Первый же страшный бой, в котором погибли его друзья (сам Мамука тяжело ранен), ввергает его в шок, затянувшийся на долгие месяцы. Неизвестно, чем бы это кончилось, не опекай его надежный и сильный друг Антандил Бокерия. Потрясение, пережитое Мамукой, так велико, что даже приезд Тэклы на Северный Кавказ, где его часть находится на переформировании, не может вывести его из шока. И



только новый жестокий бой, яростный накал атаки выжигает из юной души черное пятно депрессии — очнувшийся от контузии Бокерия не верит своим глазам: Мамука с развевающимся в руках знаменем стоит на вершине холма. (За этот подвиг он впоследствии удостоивается звания Героя Советского Союза). Однако скоро выясняется, что травмированная психика героя не восстановилась, болезнь всего лишь изменила форму: отныне Мамука — лишенный собственной воли автомат, беспрекословно реагирующий на все: от воинского приказа до простого вопроса; чужое выражение лица зеркально отпечатывается на его лице и даже его строй речи отражает эту зеркальность сознания. «Потом вы были вместе?» — спрашивает его мать погибшего друга. «Потом мы были вместе», — отвечает он. «Чего ты ждешь, Мамука!» — кричит Тэкла в самом страшном и сильном эпизоде романа. «Чего я жду, Тэкла?» — как эхо откликается Мамука. На фронте, где так ценится беспрекословная исполнительность, столь своеобразная патология долго оставалась незамеченной. Но как только Автандил Бокерия, этот поистине ангел-хранитель Мамуки, получил какую-то власть (стал командиром полка), он добился оmissации своего друга.

Надо отметить, что персонажи второго плана, люди, с которыми пересекаются судьбы братьев Амаглобели, нередко написаны живее и пластичнее главных героев. Думаю, это происходит от того, что в них нет предварительной заданности, изначально заложенной идеи, даже при тщательности воплощения просвечивающей сквозь художественную плоть; они просто входят в роман и живут в нем в соответствии со своим характером. Таковы Бесо Кинцурашвили, Миша Афанасенко, Автандил Бокерия, майор Боженко, Валя Жижина, Сашка Бессмертный и целый ряд других.

О первых трех хотелось бы сказать несколько слов вот еще в какой связи: Иоселиани внимательно исследует природу человеческого мужества и того, что определяется понятием воинский героизм. В его книге нет наивного «захлеба» по этому поводу, подвигов героев-суперменов и эффектных схваток. Есть люди разного психологического склада. Одни, как Бакури, стоически переносят невзгоды; другие честны, выносливы и привязчивы, как Леон, или механически выполняют команды, душой оставаясь в своем выгороженном мире — это влюбленный Мамука. Но Кинцурашвили, Бокерия и Афанасенко — настоящие герои. Однако и их воинский героизм разного свойства и разного происхождения.

Бесо Кинцурашвили — могучий земледелец, пахарь и виноградарь, долго не может приспособиться к войне, к ежеднев-  
ному массовому убийству и разрушению, но приспособившись, он и в сражении проявляет все свои качества потомственного земледельца — смекалку, воловью силу, терпение и надежность. Очень точно, вплоть до мельчайших деталей, написана схватка с группой немцев при выходе из окружения в покинутой деревне. Не знаю, насколько достоверен Иоселиани — мне не довелось воевать, — но как читателю мне важно, что он убедителен.

Другой природы героизм Миши Афанасенко — он бунтарь, задира, скандалист; он доведен до предела постоянными мыслями о сестрах, оставшихся на оккупированной территории; он в отчаянии от того, что приходится отступать и кажется готов с трофейным автоматом наперевес пойти навстречу «фрицам». Точно найденными теплыми штрихами Иоселиани смягчает жесткую, как сведенное судорогой тело, «фактуру» этого образа.

И, наконец, всеобщий любимец (кажется, в том числе и автора), Автандил Бокерия: в начале романа он весельчак-новобранец, легче и быстрее других освоившийся в новой обстановке, затем — решительный, сообразительный, отчаянно и вместе с тем расчетливо смелый командир; но по-прежнему Бокерия балагур, «хохмач» и бабник. Его братская привязанность к больному Мамуке Амаглобели дает образу существенную окраску: в глубине души этот, казалось бы созданный для войны победитель, бесконечно добр и по-детски привязчив. Трагедия Бокерии — одна из болевых точек романа.

Поделившись соображениями о мужских образах, не могу коротко не сказать и о созданных О. Иоселиани героинях.

Стихия женственности в романе также многообразна: прямая, пронизательная, чуточку суховатая Тамара с ее предопределенным боязливым девством; милая, бесхитростная, мягкая и открытая Валя — противоположность Тамары; загадочная, затаившаяся, бессловесная и опасная, как омут, Гугута — ее встреча с прибывшим на побывку Бакури написана с удивительной глубиной; незащитно прелестная, с забавными словечками и гримасками, захлебывающаяся от многословия Медули... Интересно сопоставить с этими женщинами образы стареющих Маргариты Алхазисвили и Русудан: их угасающая женственность сродни прекрасной мелодии, звучащей прощально и тихо... Попытка очертить несколькими словами живые многогранные образы героинь О. Иоселиани обречена на про-



вал. Остается признать, что по художественной завершенности, по мастерству лепки и глубине проникновения в тайники души они не только не уступают мужским образам романа, но, пожалуй, даже превосходят их.

«Неужели человечество исчезнет с лица земли, так и не разгадав тайну женщины!» — читаем в романе.

И тут я подхожу к главной сюжетной линии и к главной творческой удаче писателя: судьбе и образу Тэклы Кадагидзе — возлюбленной невесты Мамуки Амаглобели.

Чтобы передать все оттенки ее характера, все взлеты и падения ее духа, писатель написал не один десяток страниц плотного, напряженного, страстного текста, и пересказать эти страницы значит обеднить и обескровить их. Я уже отметил глубину и многогранность женских образов романа, но всем им вместе не отдано столько душевных сил, сострадания и любви автора, сколько этой тоненькой глазастой девчонке, слишком порывистой и эмоциональной (не от этого ли с первых же страниц тревожные предчувствия и жалость?), прошедшей страшный путь от горних высот поэтичной любви до омерзительной грязи плотского падения, смертью искупившей свой грех и омытой водами черной и голубой реки. Островок у слияния рек, словно жемчугом выложенный сверкающей галькой крошечный клочок земли, где Тэкла надеется хоть на мгновение перед смертью вернуть себе прошлое и вновь обрести себя, вырастает в многозначный и выразительный символ чистоты и духовности, противостоящих неуправляемому и неудержимому потоку жизни. Нигде, ни в одном эпизоде, связанном с любимой героиней, писатель не облегчает свою задачу: напротив, он всегда идет вглубь, по пути наибольшего сопротивления, и преодоление материала создает особое напряжение его прозы. Любя и сострадая, он не позволяет жалости и снисхождения, шаг за шагом прослеживает скорбный путь героини до самой последней ступени и не отводит глаз даже тогда, когда перед ним разверзаются темные тайники подсознания, затянутый илом биологический пласт: «...прежде (чем убить омерзительного сожителя) она должна была стать самоубийцей, должна была отомстить гнездившейся в ней предательской чувственности, ибо грубая сила, которая мяла, давила и топтала ее, под гнетом которой она стонала, на горе ей, к ее стыду и отчаянию будила в ней страсть, и она оставалась женщиной даже там, где это было немыслимо, невозможно, исключено».

Для того, чтобы передать, с какой силой написан эпизод, в котором Тэкла и вернувшийся с фронта больной Мамука

убивают Трифона Алакидзе, недостаточно слово слово перевести его: эпизод пронизан токами всего романа, и каждое слово, заряженное дополнительной энергией, несет на себе отсвет истины; его психологическая глубина и выразительность сопоставимы с классическими образцами.

Опасаясь, что упрощенный пересказ невольно сместил акценты, подчеркну: подсознательное и «биологическое» занимает немало места в мотивировке «падения» Тэклы, но причина всего не повышенная эмоциональность, психологическая неустойчивость и страстность натуры, а война, все искалечившая, смешавшая, отнявшая у нее любимого и ввергшая в пучину одиночества, страхов и темных инстинктов. Настойчиво проводимая Иоселиани мысль о том, что война не признавала фронта и тыла, как бы подытоживается в коротком, но характернейшем диалоге между вернувшимся из немецкого плена «конченным» Бакури и Тэклой. «Это ты?!» — изумленно спрашивает Бакури. «Я... Меня невозможно узнать. Вот ты и не узнал». «Да... Но неужели «здесь» то же, что и «там»? «Хуже», — отвечает Тэкла. И мы, свидетели ее крестного пути, не можем не признать справедливость этих слов.

Наблюдения над природой трагического в романе О. Иоселиани не должны заслонить и такую обаятельную черту его книги, как юмор. При драматизме и трагизме обстоятельств, переживаемых героями, юмор не просто отдушина и передышка — это признак силы народа, его нравственного здоровья. Смех вспыхивает в самых невероятных ситуациях — в эшелоне под бомбами, перед смертельно опасной атакой, у стен госпиталя среди перебинтованных человеческих обрубков...

Право, удивительно, как писатель не воевавший, по возрасту, и даже не служивший в армии, сумел воссоздать фронттовую обстановку, окопную жизнь, усталость многокилометровых маршей и ужас бомбежки, переживаемый в застрявшем на путях эшелоне. (В скобках замечу, что описание скоротечных схваток удалось автору лучше, чем большие баталии с их скрупулезной детализацией и чрезмерной экспрессивностью. Несколько растянутыми и не на уровне романа показались мне философские диалоги Бакури с Герхардом Майером и внутренние монологи-рассуждения Парны Амаглобели: сейчас, когда роман завершен, можно позаботиться об отделке деталей).

Читатели знали и любили Иоселиани-новеллиста, чье самородное слово было одарено поэтической легкостью; в «Черной и голубой реке» он предстал перед своими почитателями романистом-эпиком: взволнованно-удивленное приятие мира сме-



нилось напряженным вниманием к человеку, к глубинным, «донным» корням человеческих поступков. Впрочем, корни нового Иоселиани уходят в ту же новеллистику, к сильным росткам «Левана», «Вдовьих слез» и «Звездопада». Прозрачность фразы и парящая легкость слова сменились плотностью, весомостью и силой. Не изменился Иоселиани в главном: показав разрушительную силу зла (гибель Леона, нравственная опустошенность Бакури, сумасшествие Мамуки, самоубийство Тэклы, уход из дома Парны), он все-таки не уступает поле боя силам разрушения. Сын жизнестойкого и жизнелюбивого народа, он просто не может прервать извечный круговорот жизни: на последних страницах романа мы узнаем, что учительница Медули, доставившая столько хлопот Парне Амаглобели и утешавшая его в горе, ждет ребенка, и потрясенный Парна бережно ведет ее от кладбища к городу и архаичным таинственным заговором, в котором пошатнувшаяся земная твердь вновь обретает равновесие и покой, успокаивает ее и себя...

Пятнадцать лет назад, по прочтении первых глав романа я склонен был расценить переход писателя на «эпические рельсы» как рискованный эксперимент, закончившийся — воспользуясь выражением Фолкнера — «блестящим поражением». Сейчас, когда в работе поставлена точка, очевидно, что писатель одержал большую творческую победу.

Вспоминается давний разговор: некоторые писатели, сверстники О. Иоселиани считали, что в «Звездопаде» он погрешил против правды, слишком трагично изобразив начало войны; дескать, в восприятии тогдашних подростков все было иначе, они чуть ли не радовались возможности сокрушить фашизм... Помню, как в ответ на эти упреки Отиа раздумчиво сказал: «Пожалуй, они правы... — И после недолгой паузы с глубокой убежденностью добавил, — но они не знают, что есть правда большая, чем правда жизни».

Этими словами я и закончу.

**Александр ЭБАНОИДЗЕ**



Тамара ЦУЛУКИДЗЕ

## „Долгих лет нескончаемой ночи страшной памятью сердце полно“

### «СОБИРАЙТЕСЬ С ВЕЩАМИ!»

Ночь на 2-е сентября 1937 года. Тюрьма в Ортачалах. Далеко за полночь нас разбудил скрежет отпираемой железной двери. На пороге начальник охраны. Читает по списку фамилии. «Собирайтесь с вещами!» Вскикиваем в тревоге... В чем дело? Ведь два дня назад нам всем—осужденным раздали бумагу и конверты, предложили написать родным, чтобы к следующей передаче принесли теплые вещи, необходимые для Севера... «Конверты не запечатывать! Кто напишет хоть слово лишнее, письмо не будет отправлено!».

И вдруг подняли ночью: «Собирайтесь!» Какое-то очередное издевательство, если не хуже! Дверь с грохотом захлопывается. Ушел.

Лихорадочно, торопясь (внутри все дрожит), увязываем в узелки наши жалкие пожитки: брусок мыла, разрезанный пополам, зубная щетка, зубной порошок в бумажном кулечке (коробки у нас отбирают), пара носовых платочков... Куда нас ведут? На сердце беспросветно. Через минут десять снова скрежет ключа в замке... «Выходите по одной!.. Ти-хо». В полутемном тюремном коридоре мечутся молчаливые тени охранников. Этап! Нас отправляют. Не только нашу камеру. Мюгих.

Значит — обманули! Завтра день передачи. Придут наши родные, с узлами, чемоданами... А нас уже нет. Представляю,



сколько будет слез, бессильного негодования, безмолвных проклятий...

Ведут через тюремный двор. Вытянулись цепочкой, идем гуськом, одна за другой. Во главе и в конце цепочки — два огромных болвана с револьверами наготове. Кого стерегут? Полуживые тени от женщин?.. Шепотом подгоняют: «Прибавить шаг! Подтяни-ись!». От семи месяцев сидения на тюремной койке (уже после «суда») ноги разучились ходить, подгибаются от слабости. Темное беззвездное небо нависло над головой. Город спит. Только тюрьма не спит. Сколько подлого, бессмысленно жестокого, бесчеловечного творится в этих сталинских застенках в такую ночь.

Направляют к воротам. Значит, действительно в этап. Если б «другое» — отобрали бы вещи. «Туда» уводят без вещей. Втолкнули в проходную, заперли и ушли. Нас здесь десять живых душ: Вера Думбадзе, Нина Гвиниашвили, Бужужа Шавишвили, Тина Гвелесиани, Шушана Галдава, Нина Цулукидзе, Саша Дарахвелидзе, Нина Джгмадзе, Аграфена Джалагания и я. Все рады, что вместе. Если б могли мы предвидеть, что с нами будет дальше!..

Куда нас везут? Молчим. Ждем. Каждый невольно думает в эти минуты о своих близких. Увидим ли их когда-нибудь? Суждена ли нам обратная дорога?

Саша Дарахвелидзе (она старая партийка, «уклонистка») прислонилась седой головой к холодному стеклу, смотрит сквозь решетку в черную тьму за окном. Губы ее шепчут все одну и ту же строчку стиха: «Ца-пируз, хмелет-зурмухто, че-

---

В Москве, в издательстве «Искусство» готовится к переизданию с обширными дополнениями книга Тамары Цулукидзе «Всего одна жизнь», впервые выпущенная в Тбилиси в 1983 году издательством «Хеловнеба». Как сказано в предпосланной ей краткой аннотации, известная актриса грузинского театра, супруга и соратница выдающегося режиссера Сандро Ахметели, чьей светлой памяти посвящаются эти воспоминания, рассказывает о своем жизненном и творческом пути, тесно связанном со становлением и развитием грузинского театрального искусства. В письме в редакцию она пишет: «Биография моя известна каждому театральному грузину. А помимо этого: после освобождения из ссылки вернулась в театр Руставели, проработала там два сезона, дослужила до пенсии и уехала в Минск к другу моих тяжелых сибирских лет. По его настоянию занялась литературой. В 1967 году меня приняли

мо самшобло мхарео...»<sup>1</sup> — помолчит и снова: «Ца-пируз, хмет-лет-зурмухто...» Нина Гвиниашвили стоит, закинув голову, с каменным и брезгливым выражением лица. Нина — замечательный человек, она сильная, волевая, лучше нас все понимает. Этот подлец Щекочихин не смог заставить ее подписать ни одной бумаги («они же потом подделывают почерк, как ты этого не понимаешь?»)

Снова заскрежетал ключ в замке: «Выходите!» Выходим во тьму. Так и есть: у ворот стоит «черный ворон». Поспешно вталкивают нас вовнутрь. Что-то они очень суетятся, видно, сегодня ночью будут отправлять многих. В темноте ощупью рассаживаемся на продолговатые скамьи друг против друга. Захлопнулась дверка. Тронулись. Машина бешено мчит нас по ночным улицам. На крутых поворотах валимся одна на другую. «Скорей бы уж доехать!» Меня мутит, голова кружится... Это первый «черный ворон» в моей тюремной жизни — огромный глухой черный ящик. Он мне кажется жутким. Я пока не знаю, что будут еще другие, усовершенствованные по последнему слову утонченного садизма. Мне еще придется познать и их.

Машина стала. Вылезаем. Мы где-то на отдаленных запасных путях за вокзалом. Начинает светать. Вдали мутно желтеют огни станционного здания. Невольно мелькает в памяти картина: встреча театра Руставели на вокзале, с музыкой.

---

<sup>1</sup> «Небо-бирюза, зелень-изумруд, — мой родимый край!» (груз.).

---

в Союз писателей СССР. У меня персональная пенсия республиканского значения, орден «Знак почета». В декабре этого года мне стукнуло 85 лет! Еще работаю. Заказан очерк для альманаха «Наше наследие». Издательство Союза театральных деятелей в Москве предложило мне написать о моей творческой работе в лагерях. У меня там был хороший кукольный театр, обслуживавший весь Север Коми АССР. Словом, работы интересной хватает. Были бы силы!».

Тамара Георгиевна отобрала из своей книги «Всего одна жизнь» три отрывка для «Литературной Грузии». Два из них, по ее словам, «на грузинские темы, о грузинских людях, моих товарищах по судьбе», один — тоже о том, кто был вместе с ней в ссылке, — о профессоре Ковалевском. Эти фрагменты мы и предлагаем вниманию нашего читателя.



цветами, восторженными приветствиями после блестящих гастролей в Москве и Ленинграде. Это же было совсем недавно, в июле 1933 года... Всего четыре года назад!

Нас ведут к длинному вагону с зарешеченными окнами. Позже я узнала, что это так называемый «стольпинский вагон» для особо опасных политических преступников. Внутри это обыкновенный пассажирский жесткий купейный вагон, только в каждом купе вместо передней стенки сплошная железная решетка с откидной форточкой. Заперли нас в этих клетках, но не всех, как мы надеялись, а распределили на три купе. Я, Шушана Галдава и Джалагания вместе.

Через некоторое время снова топот ног, приглушенные голоса; слышим — привели заключенных мужчин. Но ввели их с другого конца вагона, чтоб мы их не видели, и тоже разместили в нескольких купе, группами. Позже я узнаю, что делили людей по количеству статей. У меня целый букет самых махровых статей (мне на «суде» зачитали их, я тогда еще не знала, что они означают), вплоть до покушения на жизнь Сталина!

Наконец поезд тронулся. Прощай, мой город! Ничего уже не поможет! Ничего не спасет! Кажется, только в этот момент дошел до моего сознания смысл чудовищного приговора: 10 лет строгого тюремного режима. До этого я все еще не понимала, все думала: «Господи! Какой абсурд! Ведь они же знают, что вины никакой нет! За что же 10 лет?! Не может этого быть». Я верила — придет некая высшая справедливая разумная сила и сразу рассеет весь этот кошмар. Сейчас вдруг отчетливо поняла, что никакой высшей разумной силы не существует. Все идет именно сверху. Все подчинено чьей-то могущественной, жестокой, дикой, злой воле. И творится сознательно, планомерно.

## 16-я КАМЕРА, 1937-й

В камеру, где стояло восемь коек, постепенно втиснули двадцать шесть человек... На койках лежали по двое валетом, лежали в проходах на полу между койками и под койками. Менялись местами по очереди.

Я уже, пожалуй, не смогу вспомнить имена всех женщин, кто были со мной в этой камере, но некоторые... Была Пирумова, армянка, жена какого-то ответственного работника. Была Саша Чиковани-Курдадзе — общепризнанная красавица

тбилисском обществе; ее муж Васо Курдадзе был в дружеских отношениях с моим Сашей, но семьями мы не были знакомы. Была Оля Уридия, жена одного из секретарей центрального органа Компартии Абхазии. Ее прозвали «абхазской змейкой»: она была очень хороша собой — высокая, тоненькая, гибкая, с маленькой гладко причесанной головкой, смуглым лицом, светлыми глазами и ярким ртом. Была еще Оля Окуджава, сестра известного в Грузии «уклониста». Весь род Окуджава был репрессирован, несколько семей, все — и старые, и молодые. Оля выглядела очень измученной; седая, видимо, не от возраста, а от горя. Брат Оли уже давно, задолго до 37-го года, жил где-то на Севере в ссылке. Оля была женой знаменитого поэта Галактиона Табидзе. Его не трогали, а Олю посадили.

Еще была с нами Ганна Элиава, молодая девушка. Отец ее весьма популярный в Тбилиси профессор Гоги Элиава, известный своей эксцентричностью и чудачествами, а мать — певица, кажется оперная, имени ее я не могу вспомнить. Позже привели Веру Думбадзе (приемную дочь сосланного «уклониста»), мать которой тоже находилась где-то в ссылке, девочка росла одна. Когда ее ввели в нашу камеру, все были поражены: «Что уже и детей стали забирать?!», настолько она выглядела юной. Оказалось, — 16 лет. Ей тоже дали десять лет тюрьмы... За что?!. Она рассказала: ездила на свидание к отцу. Когда уезжала, он дал ей какие-то свои бумаги, записи, просил сохранить после его смерти, так как «не надеется выйти из своего изгнания живым». Вера приехала домой и спрятала эти бумаги в отдушину печки в своей комнате. Может быть, с кем-то поделилась, доверилась... Но кто-то донес. К ней пришли с обыском, нашли эти бумаги, арестовали девочку, «судили» (если эти гнусные фарсы можно назвать судом!) и приговорили к десяти годам тюремного заключения. О дальнейшей ее судьбе ничего не знаю.

Хочу рассказать об Оле Уридия. Ее историю мы услышали от нее самой: у них был открытый гостеприимный дом. Часто принимали у себя гостей из Москвы, приезжавших с ними иностранцев. Когда взяли мужа, Оля еще лежала в постели после родов. Через некоторое время, когда она уже была на ногах, пришли за ней. Забрали вместе с грудным ребенком. Поместили в одиночную камеру, приставили женщину, которая оставалась с ребенком, когда Олю вызывали на допрос. А вызывали каждый день, держали часами. Когда у нее набухали груди, она плакала, молила отпустить ее накормить ребенка:



издевались: «подпишите, отпустим!»... От нее требовали, чтобы она дала показания о том, что Пятаков, Радэк, Лакоба (еще кто-то, не помню) приезжали к ним с целью конспирации, как заговорщики, «враги народа». Не знаю, как она вышла живой из этой изощренной пытки, но однажды, вернувшись в камеру, уже не увидела своего ребенка: его унесли, отдали в детский дом, куда сдавали осиротевших детей из разоренных семей репрессированных родителей. Несколько дней Оля была на грани безумия, ее стерегли днем и ночью, чтобы что-нибудь над собой не сделала, потом бросили к нам в камеру. На людях она постепенно отошла, стихла, сникла. Больше ее не вызывали.

Олю и Сашу Чиковани «судили» раньше всех, дали им по 8 лет лагеря и услали куда-то на Дальний Восток. Об Оле я уже больше не слышала, а про Сашу говорили, что по окончании срока она вернулась в Грузию, устроилась где-то сестрой-хозяйкой в санатории.

Еще хочу вспомнить про Тину Гвелесиани. Она была одной из заметных представительниц грузинского общества. Очень одаренная журналистка, обаятельная женщина. Дружила с Лидой Гасвиани, известной партийкой-«уклонисткой»; в связи с ее «делом» Тина и попала в эту беду. К Лиде часто приезжал Радэк, с которым ее связывали дружеские отношения. Она устраивала вечеринки в честь его приезда, приглашала друзей и Тину в том числе. Этого было достаточно, чтобы попасть в число обреченных на гибель. Мы с Тиной недолго были вместе в 16-й камере, ее скоро увели. Она помешалась: ей все чудилось, что привели на допрос ее маленьких племянников. Все спрашивала: «Слышите? Слышите? Это они!.. Я узнаю их голоса!..» Моментами, казалось, приходила в сознание, говорила нормально, потом снова начинались галлюцинации. Позже мы с ней встретились в Ярославской тюрьме, а потом были вместе в лагере в Сибири.

Была (очень недолго) старая женщина из Западной Грузии, высокая, кряжистая, костлявая старуха. Она все молчала, ни с кем не заговаривала. Ее подолгу держали на допросах. Мне выпала очередь лежать с кем-то валетом на койке. Ее койка стояла рядом, у стены. Ночью я почувствовала прикосновение руки, вздрогнула (самое страшное было, когда ночью забирали на допрос). Я открыла глаза — будила меня эта старая мингрелка. Она заговорила шепотом по-грузински:

— Послушай, хочу с тобой посоветоваться. Что мне делать? Меня очень бьют. Три молодые бабы раздевают меня

донага и хлещут резиновыми палками, пока не упаду. Обливают водой, опять ставят и опять бьют. Заставляют подписать какие-то фамилии, которые я в первый раз слышу, не знаю, кто они. Еще говорят: «Назови, кто твои сообщники? Какие грузины, приехавшие из-за границы, приходили к тебе домой и какие поручения они тебе дали?» Я начинаю вспоминать все фамилии, какие знаю в Грузии, подряд... двадцать, сорок, пятьдесят... Следователь орет: «Врешь, стерва! Столько не может быть!..» Я говорю: «Еще будете бить, еще назову сотню, тысячу... Мне все равно не жить, мне восемьдесят лет... На людей грешить не буду...»

Мне этот горячечный шепот старухи, ее дико, лихорадочно сверкавшие глаза, спутанные лохмы седых волос при ярком свете лампочки под потолком казались кошмарным ночным сновидением. Тогда я еще не знала ничего, не знала... потом уже!.. Старуха увидела, что я не верю, привстала с койки: «Смотри!» — спустила юбку, задрала сорочку и встала передо мной голая... Все костлявое старческое тело было одним сплошным лилово-черным синяком местами с бледными просветами нормальной кожи. Страшное изуродованное тело старухи дрожало мелкой дрожью... «Ну, теперь веришь?» Я молчала потрясенная. Она закрылась, легла на койку.

— Слушай! Я хочу написать письмо Берия. Он, должно быть, не знает. Это все проклятый Кобулов со своими подручными творит. Берия не знает. Он наш, мингрелец, зачем он будет меня, старуху-мингрелку, пытать? Мне восемьдесят лет... У меня двенадцать внуков. Ты мне напиши заявление, я как-нибудь передам прокурору».

Несчастливая! Она верила, что ее земляк Берия не может быть причастен к таким злодеяниям. Через несколько дней ее уже не вернули в камеру. О судьбе ее больше ничего не знаю.

Слухи каким-то образом передавались из камеры в камеру, иногда непосредственно от очевидцев, порою через десятые уста, возможно, далеко не достоверно. Про судьбу жены Лакобы (такое красивое имя — Сариз!) говорили страшное. Лакоба умер задолго до репрессий. Был похоронен со всеми почестями как глава Абхазской автономной республики у себя на родине. А когда началось это политическое стихийное бедствие, зародившееся в больном мозгу Тирана, Лакобу тоже обвинили в каком-то заговоре (покушение на жизнь Сталина!). По приказу «великого-мудрого» могила Лакобы была предана поруганию: откопали и выбросили куда-то труп; арестовали всю его родню. А жена Сариз сидела в одной из соседних с нами



камер, но не одна. Ее каждую ночь вызывали на допросы. Заставляли дать показание, что ее муж был «изменником родины». Она упорно противилась этой подлости. Ее мучили до потери сознания. Потом приносили в камеру. Несколько дней врачи ее лечили, выхаживали, даже приносили ей из буфета всякие деликатесы. Понемногу она приходила в себя. Казалось, все: кончились ее мучения... Потом вдруг опять уводили ночью, и все начиналось сначала. После пыток опять приносили в камеру полумертвую. Она не подписывала. Не добившись ничего, стали над ней глумиться: две здоровые бабы раздевали ее донага и били так, что покалечили внутренние органы. Сариз умерла в тюремной больнице от скоротечной чахотки.

Когда эти палачи знали, что обреченный узник больше не увидит света, не стеснялись в средствах. Потом уничтожали всякие следы... Расстреливали своих же следователей, проводивших эти «операции». Здесь же расскажу про всю группу чекистов, которым было «доверено» наше «дело»: расстреляли начальника особо секретных дел Мхеидзе, расстреляли следователя Щекочихина, который нас допрашивал. Только эту подлую тварь Подольскую, которая всячески искажала смысл моих слов на допросах, доводила меня, полусумасшедшую от ужаса, когда я наконец поняла, где нахожусь, обессилевшую от бессонницы, до беспомысленности, ее они почему-то отпустили, а она была самая подлая из всех следователей.

Откуда я про все это знаю? Действительно, — мир тесен! На центральном лагпункте в Княж-Погосте (Коми АССР), где я уже руководила театром кукол, ко мне подошел какой-то грузин, сообщил, что работал следователем, когда я там сидела, и рассказал: «После того, как вас всех «убрали» (так он выразился, видимо, по своей привычной терминологии), потом взяли за тех, кто вел ваше дело. Расстреляли Мхеидзе, Щекочихина и еще нескольких следователей. Пришили им какое-то дело. Щекочихин сидел со мною в камере. Он все время плакал». Я спросила про Подольскую. «А Подольскую почему-то отпустили». «Ее первую надо было, и не расстрелять, а повесить!»

## В ПАЛАТЕ ПЕЛЛАГРИКОВ

Еще одна трагическая фигура, оставшаяся в памяти на мрачном фоне сангородка Ропча, этого кладбища живых: профессор Ковалевский, востоковед, знаток древнекитайской и

японской литературы, москвич. Это был необычайно худой, высокий, сутулый человек, с лицом словно обтянутым пергаментом, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты, когда он говорил о своем любимом предмете — о поэзии.

Одно время мне были поручены ночные дежурства в палате пеллагриков в очередь с милой Эммой Данишевской, опытной медсестрой (муж ее был послом в Персии. Тоже погиб в тридцать седьмом году).

Пеллагра! Эта страшная болезнь косила людей в лагерях беспощадно. Это не вирусная болезнь. Это — недуг предельно изнуряющего безысходного рабского быта: люди гибнут от авитаминоза. Истоки болезни — систематическое недоедание при тяжелом 12-часовом физическом труде. Молодые и молодые, казалось бы, здоровенные мужчины за два-три года выматываются, теряют силы, сдают. Сначала — упадок сил, слабость мышц, воспаление слизистой оболочки рта, языка. Затем появляются бурые пятна на коже рук и ног. Работа под открытым небом, радиация солнечных лучей губительно ускоряют течение болезни. Бурые пятна превращаются в гнойные раны по всему телу. Характерный симптом — неутолимое чувство голода, потребность кушать, кушать, кушать!.. Но пища уже не идет впрок. У больного кровавый понос. Мускулы хиреют, деформируются, тают. Кожа превращается в сухую, шершавую желтую тряпку. Последняя стадия — потеря разума и... летальный исход.

Три страшных «д» остались черным траурным пятном в моей памяти: дезинтерия, дистрофия, деменция — три стадии этой болезни.

Лечение в условиях лагерей минимальное: инъекции никотиновой кислоты, витамины в виде хвойного напитка, зелень травы «черемша». Нужно еще нормальное питание и можно было бы спасти, если б вовремя!.. Но где оно, питание?..

В моей палате все пеллагрики, уже активированные. Зима 1943 года. По всем лагерям идет спешное активирование заключенных. Лагерь освобождается от излишнего балласта. Для работы они уже не пригодны, но освобожденные, пожалуй, еще смогут добраться до места назначения. Поэтому их стараются по мере возможности еще подкормить: дают на каждого по полстакана молока, 10 граммов сливочного масла и крохотную, граммов 50 весом говяжью котлетку. «Усиленное питание!» Но это уже капля в море. Самообман. Фикция.

Профессор Ковалевский! Он выделялся породистой внеш-



ностью, сдержанно учтивой манерой держать себя с начальством и полным равнодушием к обыденному лагерному бытию. Таким было мое первое впечатление при встрече с незаурядная личность! И дальше он меня заинтересовал своей неисчерпаемой эрудицией. Узнав, что я в прошлом актриса, старался, при случае, занимать меня беседой о литературе. Часто заглядывал в наш сестринский барак и читал нам лекции о древнекитайской и японской поэзии. Это было для нас всех нечто совершенно неведомое и мы с удовольствием его слушали. Профессор был одинок, нигде никого близкого, ниоткуда никакой помощи. И мы старались ненавязчиво, чтоб не обиделся, исподволь подкормить его, сохраняя лишнюю порцию баланды, кое-что из скромных посылок, получаемых из дому. Но проходили месяцы, годы, Ковалевский поддался общему роковому недугу. Слабый, непривычный к тяжелому физическому труду организм не смог долго противостоять непомерной нагрузке. Вскоре попал в палату пеллагриков и был даже активирован.

Мое дежурство. 11 часов ночи. Отбой ко сну. Замерла жизнь в больнице. Я обхожу своих больных, палаты пеллагриков. В двух палатах 60 человек. Все они активированы. Ждут отправки на волю. На волю?.. Ведь уже известно, что большинство из них не дотянет до места назначения, если только не придет за ними кто-нибудь из родных, они падают на вокзалах, в вагонах. Но начальству на это наплевать: главное — избавиться от них, выгнать за зону! Некоторым, не знаю как каким признакам или соображениям, дают в качестве сопровождающего медбрата в дорогу.

В каждой палате по два круглых железных стояка, отапливаются торфом. Но ветхое здание плохо протапливается, кругом щели, дует. В палате прохладно. Больные тщетно кутаются в старые шерстяные одеяла. Прохожу по палате. Все уже в постелях, даже с головой укрылись. Но я знаю их маленькие хитрости: стоит мне часа через два после полуночи пойти по палатам с ночным обходом, и я увижу в полутьме длинные, как привидения, скелеты, закутанные в больничные одеяла, тесно облепившие со всех сторон теплый стояк печи. Это не полагается, я не должна им это разрешать, но не в силах отгонять их от печей. Они мерзнут. Им не хватает тепла. Тепло тоже надежда на жизнь! Я молча прохожу мимо.

Захожу в свою дежурку. Закрываю за собой дверь. Тут тоже топится железный стояк. Тепло. На столе у меня оп-

львшая свеча в деревянном самодельном шандале (на ночь электричество выключается). Заготовлена стопка историй болезней, чернильница, стакан с карандашами и ручками. Стоит полная банка с желтым клейстером из ржаной муки. Ну что ж, надо приниматься за эту скорбную работу! Интересно, название болезни «скорбут» (начальная стадия авитаминоза) от корня слова «скорбь»? Ведь история болезни тоже иначе называется «скорбный лист». Сижу, работаю. На душе, как всегда, камень. Слышу легкий стук в дверь.

— Войдите!

В приоткрытую щель просовывается знакомая физиономия с выражением мольбы и смущения:

— Тысяча извинений! Я только на минуточку! Хочу спросить что-то и уйду тотчас же! Честное слово! Можно?

— Да уж входите, профессор! Без дипломатии! Вы мне не помешаете. Небось не спитесь?

Это профессор Ковалевский. Я уже знаю. Не в первый раз. Повадился заглядывать ко мне в дежурку почти каждое мое дежурство: «Хотите я вам буду читать стихи? Будем говорить о поэзии. Поэзия — это великая сила! Она утешает человека. Чтобы выжить, нам надо подняться над повседневностью. Надо жить широко!»

И вот так почти каждое мое дежурство появляется этот странный человек, живущий туманными призраками своего прошлого, своей науки, с душой, жаждущей света, добра и красоты. Он пожилой человек, лет пятидесяти, но в нем такая неистовая жажда жизни, такая фанатическая вера в то, что весь этот кошмар, настигший нас, пройдет, исчезнет... Надо только выдержать! Выжить! Во что бы то ни стало выжить!

Я разрешаю ему войти.

— Безмерно благодарен! Я посижу у вас, немножко, да?

Придвигает к теплой печке табуретку, взбирается на нее с ногами, устраивается, скорчившись, кутаясь в больничное одеяло. При мерцающем огоньке свечи он сам уже видится мне призраком — весь высохший, длинный, один скелет, не лицо — череп, обтянутый кожей. И только глаза — живые, горящие, сверкающие. Разум ясный, четко мыслящий, анализирующий. Память изумительная, читает сотни стихов на память.

И вот он сидит, собравшись в комочек, произносит поэтические строки однотонно, тихим, размеренным голосом. Я сама впадаю в экстаз под музыку этих удивительных, незнакомых мне, завораживающих поэтических образов...





Один грущу о волосах,  
Что побелели на висках.  
В пустынной комнате вот-вот  
Вторая стража пропоет.  
Пошли дожди, полно воды,  
Опали горные плоды...  
Под фонарем в траве звучат  
Напевы звонкие цикад...  
Хочу я знание получить,  
Чтоб боль и старость излечить!  
Но в книгах то лишь вижу я,  
Что нет у Будды бытия.

— Это поэт Ван-Вей, VI век до нашей эры, — тихо заканчивает Ковалевский и надолго замолкает. Сидит, закрыв глаза и чуть покачиваясь, словно внутренне продолжая мелодию стиха.

— Еще что-нибудь, пожалуйста! — прошу я смиренно.

О, бренный мир! Как горестно все в нем!..  
Нет выхода!.. Не сбросить ига бремя.  
В грядущее я обращаю взор и из ущелий гор  
Мне слышен громкий плач оленя..

Я отодвигаю в сторону кипы историй болезней и придвигаю чистый лист бумаги, берусь за перо — буду записывать стихи. Они мне бередают душу, но, как это ни странно, словно и утешают, снимают привычную тяжесть с нее. Вновь в мою душу вторгается чудо поэзии и опять жизнь кажется прекрасной...

Так продолжается час, два... Он читает стихи... Слышен только скрип моего пера и потрескивание фитилька в свече. Если когда-нибудь суждено мне уйти на волю, возьму их с собой. Как знать!

— На сегодня достаточно! — говорю я, вставая. — Пройду по палатам. И вы устали. Идите, ложитесь!

— Я еще немножко посижу и уйду, можно?

Я выхожу, прикрыв за собой дверь.

Ох, как давят мне на душу эти ночные обходы. Опять не спят! Я вижу молчаливые, серые, плоские тени, прижавшиеся к холодеющей печи.

— Товарищи, ну, нельзя же так! Всю ночь! Я уже рассержусь! Доложу завтра главврачу и вас выпишут.

Тогда они, как провинившиеся дети, поспешно разбега-

ются к своим постелям. Мне стыдно за мои слова. Но что делать?!

— Сестра! — зовет чей-то тихий голос.

Подхожу: — Ну что? Помочь чем-нибудь? Плохо тебе?

— Не-ет, мне совсем неплохо. Мне даже хорошо-о. Я же активированный. От одной этой мысли я почти здоров! Когда начнут отпускать, сестра?

— Не знаю, милый. Разве нам говорят заранее? Но главное, что вы уже почти на воле. Думайте об этом. Это помогает жить, держаться. — Я глажу его по костистому черепу. Жалость надрывает сердце.

Возвращаюсь в свою дежурку. Дверь полуоткрыта. Ковалевского нет. Гляжу на будильник на столе: уже шестой час утра, а все еще темно. Зима! Присаживаюсь к столу, придвигаю к себе стопку историй болезней. Невольно взгляд падает на банку с клейстером. О-о-о... Банка пуста! Боже мой, какой ужас! Он вылакал клейстер! Противный, прокисший клейстер из затхлой муки. Несчастный! Он не посмел, постеснялся попросить его у меня, а оставшись один, не мог совладать с собой и съел его, поспешно, воровски. И убежал... Боже мой, во что превращает человека пеллагра! Я плачу, плачу навзрыд от горечи и отчаяния: «Профессор, дорогой, напрасно вы убежали! Это не стыдно! Нет! Это только страшно! Страшно! Завтра со мной может случиться то же, у меня уже есть скорбут...»

Вспыхнула в памяти угроза следователя Подольской, самой подлой из них: «Ничего-о! Дове-де-ем! На четверинках ползать будете-е!...»



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

### «Мерани»

БРЕГВАДЗЕ Л. Улыбка манекена. Рассказы. Повесть. Перевод В. Зининой. Тбилиси. 1988. 210 с. 5000 экз. 1 р.

КУХИАНИДЗЕ З. Золотой песок. Стихи. Тбилиси. 1988. 127 с. 1000 экз. 55 к.

ЧАРКВИАНИ Дж. Избранное. Стихи, поэмы. Тбилиси. 1988. 286 с. 10 000 экз. 1 р. 90 к.





## КАВКАЗ, ВДОХНОВИТЕЛЬ МУЗ...

**Н**иколая Гумилева расстреляли в 1921 году, до сталинских репрессий, при жизни Ленина.

Пролилась кровь безвинного поэта.

Ему было 35 лет.

Н. Гумилев был романтиком. Путешествия — его страстью. Яркий поэтический талант, неуспокоенность духа определили его место в истории русской литературы. Первые его строки, первая любовь оказались связанными с Тбилиси.

Как тут не вспомнить слова Белинского о том, что на долю Кавказа выпало стать колыбелью поэтических талантов России, вдохновителем муз, их поэтической родиной...

Действительно, почти все выдающиеся русские поэты приобщались к благодати грузинской земли. И Гумилев в том числе.

Он жил в Сололаки, в одном из старинных районов города, какое-то время учился в 1-й гимназии, имел товарищей-грузин. В 1900—1903 годах написал стихи, которые опубликовал «Тифлисский листок». В недавно вышедшей в издательстве «Мерани» книге Гумилева напечатано фото дома, в котором жил поэт.

Исследователю грузино-русских литературных взаимосвязей несомненно будет интересно узнать, что Николая Гумилева связывали дружеские отношения с Григолом Робакидзе.

Григол Робакидзе — один из первых грузинских писателей, кто понял гениальную сущность Важа Пшавела и стал страстным пропагандистом его творчества. Поэтому естественно, что переводчиком его произведений он хотел видеть поэта, поэзию которого хорошо знал и высоко ценил.

И вот он предлагает Николаю Гумилеву перевести «Змея-еда» Важа Пшавела. Гумилев пишет Гр. Робакидзе письмо, из которого мы узнаем два весьма знаменательных факта: во-первых, Н. Гумилев, оказывается, так или иначе знал грузинский, и во-вторых, статья Гр. Робакидзе о символизме была

послана ему в Петербург. Письмо Н. Гумилева впервые было напечатано после его расстрела в газете «Бахтриони» в 1922 году (на грузинском языке)\*.

Уважаемый господин Григол!

Прежде всего прошу извинить за опоздание с ответом. Но Ваше письмо я получил буквально на днях. Я очень рад, что Вы вспомнили обо мне и что собираетесь приехать в Петербург. Мне бы очень хотелось встретиться с Вами. Ваше сообщение о грузинском символизме очень заинтересовало меня. Конечно, пришлите свою статью, я ее где-нибудь пристрою, но у редактора должно быть право сократить ее по своему усмотрению, без этого напечатать будет труднее.

Что касается перевода «Змеееда, то я с большим удовольствием рискну, если смогу преодолеть технические сложности. Тогда его можно было бы опубликовать в «Пантеоне» с Вашей вступительной статьей. Но несчастье в том, что я очень плохо знаю грузинский язык и смогу переводить только по буквальному переводу и указаниям человека знающего.

Ваш Н. Гумилев.

Рукопись и письма шлите по адресу: Царское Село, Бульварная, дом Георгиевского, Николаю Степановичу Гумилеву.

По свидетельству самого Робакидзе письмо Гумилева должно относиться к 1911 году. Любопытно, что и Гумилев наряду с Бальмонтом проявил интерес к грузинской поэзии и готовился даже переводить «Змеееда» Важа Пшавела.

Статья Гр. Робакидзе о грузинском символизме (в основном о Важа Пшавела, так как «Голубые роги» вышли только в 1916 году) была опубликована в 1921 году в журнале «Русская мысль».

---

\* Оригинал письма Н. Гумилева, как видно, хранится в личном архиве Гр. Робакидзе, находящемся за границей. Мы были вынуждены сделать перевод с грузинского варианта, принадлежащего, очевидно, перу Гр. Робакидзе.





Леван СУЛАКВЕЛИДЗЕ

## МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!

На протяжении нескольких десятилетий все усилия прогрессивного человечества, что вполне естественно, были направлены на решение проблемы атомного разоружения. Сегодня, когда наметились обнадеживающие пути к урегулированию этого вопроса, планомерному и безопасному уничтожению смертоносного оружия, встала во весь рост другая глобальная проблема, угрожающая не меньшей (если не большей) опасностью экологической катастрофы. В своем выступлении на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе отметил, что «к фронту ядерно-космической угрозы приближается и встает в один ряд с ним второй фронт — экологический». И если человечество сразу же разобралось в опасности, вызванной первой проблемой (чему бесспорно помог опыт первой и второй мировых войн, а особенно два «урока» Японии) и использовало (и использует) все уровни, чтобы уничтожить свое же собственное детище — атомное оружие, то к полному осознанию второй проблемы еще не пришло. Возможно потому, что наше приближение к экологической катастрофе недостаточно ощутимо, требует соответствующего осмысления, изучения и времени для наблюдений и обоснованной тревоги пока охвачены лишь отдельные, причастные к этому слои общества.

Цель данной публикации состоит исключительно в том, чтобы, обрисовав по мере возможности существующую в мире сложную ситуацию, возникшую в результате пренебрежитель-

16 0353 20  
810-111033

ного отношения человека к природе, привлечь внимание читателей к экологическим проблемам Грузии. Это необходимо, чтобы предотвратить обострение существующего экологического кризиса, возникшего, в частности, в отдельных регионах в силу то ли незнания, то ли беззаботности или беспредельного нашего равнодушия, и в корне пресечь возможность необратимого развития этих негативных процессов.

В чем же дело? Что произошло? Почему нашей матери-природе так трудно стало противостоять натиску человека? Попробуем последовательно в этом разобраться.

В двадцатом веке, который признан веком технического и демографического бума, значительно — на основе растущих потребностей людей — возросло количество фабрик, заводов и транспортных средств. В результате их вредоносных выбросов и большой концентрации в воздухе мельчайших частиц пыли — продуктов эрозии почвы возник так называемый «эффект теплицы», вызвавший потепление климата, породивший возможность развития необратимых процессов. Глобальное изменение климата могут вызвать появившиеся «дыры» в озоновом поясе защитной оболочки земли, которые регулярно возникают над полюсами (в последнее время они замечены и над густо населенными регионами). Ученые до сих пор еще не смогли точно определить все причины возникновения этих «дыр». Недавно проведенное измерение такой «дыры» над Антарктидой показало, что площадь ее равна почти 10 миллионам квадратных километров (для сравнения — чуть меньше площади Европы или почти такая же, как площадь США). Американские ученые в 70-х годах высказали соображение (которое впоследствии подтвердилось), что на эту защитную озоновую оболочку земли губительное воздействие оказывают хлорфторуглеродороды или как их часто называют — фреоны. Эти вещества широко используются для изготовления целого ряда синтетических материалов, а также для аэрозольного распыления лаков, красок, дезодорантов, помещенных в специальные баллоны. Пользуются ими в авиации, в пожарном деле, в холодильных установках и др. Несмотря на свою стойкость, через определенный период времени под воздействием ультрафиолетовых лучей эти вещества все же распадаются, и образовавшийся фтор губительно влияет на слой озона (наблюдения над озоновой оболочкой начались с помощью спутников только с 1970 года; именно озоновый щит и связанные с ним проблемы и заложили фундамент новой отрасли — атмосферной химии). Сейчас в атмосфере 1600 различных видов газов,



из которых больше всего азота (77 процентов) и кислорода (21 процент). 99,9 процента газов в атмосфере — естественного происхождения и только 0,1 процента представляют собой газы, возникшие по вине сельского хозяйства, техники, промышленности.

Нельзя не поверить известному американскому биофизику Ирвингу Минтзеру, который отмечает, что если деятельность человека в кратчайший период качественно не изменится, то в XXI веке, в котором жить нашим детям и внукам, ожидается ощутимое потепление климата. Это вызовет учащение тайфунов, цунами и засух, интенсивное таяние полярных ледников (отсюда затопление участков суши и безвозвратная потеря их, что еще более усугубит острейшую проблему нашего Черноморского побережья). При этом постепенно усилится вторжение в нижние слои атмосферы ультрафиолетовых лучей, что со своей стороны понизит иммунитет человека и будет способствовать широкому распространению злокачественных кожных и тяжелых глазных заболеваний. Таково мнение и французских метеорологов. Математическими расчетами установлено, что наша земля и климат ее меняются. Оказывается, те стихийные бедствия, которые имели недавно место на нашей планете (наводнения в Бангладеш, в Сахеле, засуха в США; ураганы в Южной Европе и т. д.), точно совпадают с предсказаниями ученых. Составленный французами самый долгосрочный прогноз, оказывается, предусматривал развитие этих явлений. По этому же прогнозу в конце нашего века следует ожидать рост циклонов и повышение уровня моря (последний из-за потепления климата за последние сто лет уже поднялся на 10—20 сантиметров).

Советское правительство, подобно 55 другим государствам, совсем недавно приняло к осуществлению так называемый монреальский протокол 1987 года, который вошел в силу с 1 января 1989 года. Согласно этому документу мы принимаем обязательство сократить за 10 лет на 50 процентов производство тех веществ, которые, попадая в атмосферу, нарушают защитную озоновую оболочку земли. По мнению директора общества охраны природы Дании Давида Релинга, монреальское соглашение не сможет осуществить намеченную задачу, поскольку для защиты озоновой оболочки необходимы более жесткие меры. Это мнение разделяют и многие специалисты других стран, считающие, что уже к 1992 году необходимо на 50—80 процентов сократить «выброс» в атмосферу различных соединений азота и фосфора. Что касается особо опасных металлов, каким,

например, является кадмий, то его производство прекратить полностью к 1995 году.

Большинство из собравшихся недавно в Федеративной Республике Германии (город Бад-Болле) международных экспертов (почти 70) по охране среды высказали мысль, что в разрушении защитной озоновой оболочки (помимо всего отмеченного выше) повинны и выхлопы сверхзвуковых самолетов, которые, как правило, летают на достаточно большой высоте. Как видим, причины разрушения защитного слоя земли — озоновой оболочки, если не полностью, то в большей или меньшей степени все же установлены, и для ее защиты уже намечаются соответствующие меры.

По данным министерства здравоохранения СССР у нас 40 миллионов человек живут в таких городах, где загрязненность воздуха в 10 и более раз выше допустимой нормы, поскольку более половины из расположенных здесь предприятий, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества, не имеют очистных сооружений. Там же, где они есть, каждое пятое не работает.

Печален опыт города Запорожье, занимающего первое место в Союзе по загрязненности воздуха благодаря заводу «Запорожсталь» (загрязнение воздуха там иногда в 25 раз(!) превышает предельно допустимую норму), а корпуса заводов и жилых домов тесно переплетены друг с другом.

Из распыляемых в воздух отравляющих веществ особенно опасен бензопирин (его допустимая концентрация составляет лишь один грамм на сто тысяч кубических метров воздуха. 20 килограммов этого вещества могут отравить три триллиона(!) кубометров воздуха. И несмотря на такую тяжелую экологическую ситуацию, перевод расположенных вблизи городов мощных теплостанций с мазута на природный газ начался только сейчас. И это при непрерывном росте добычи газа в нашей стране: в 1986 году добыто 639 миллиардов кубометров, в 1987 — 678 миллиардов кубометров, в то время, когда в тех странах, где добыча природного газа ежегодно сокращается (в США в 1975 году добыто 558 миллиардов кубических метров, а в 1986 году — 473, в Нидерландах в 1975 году — 101, а в 1987 году — 86 миллиардов), вопрос перевода теплостанций с мазута на газ уже решен. В городе Карабаш Челябинской области на каждого жителя в год приходится 10 тонн (!) вредных веществ. Загрязнение воздуха создало тяжелую экологическую ситуацию в таких городах, как Днепро-Дзержинск, Мариуполь, Днепропетровск, Донецк, Макеевка,



Нижний Тагил, Ангарск (из 774 источников вредных выбросов только у 454 имеются очистные сооружения), Кемерово, Новокузнецк и другие. В городе Астрахани за последние два-три года среди детей ощутимо возросло количество заболеваний: воспаление дыхательных путей, головные боли, носовые кровотечения, падение гемоглобина и другие. Но самое главное, как предполагают многие специалисты, такое положение не может не оказать воздействие на гены. Среди женщин участились анемия, токсическая беременность и др. Замечается патология среди новорожденных (порок сердца, мозговые и желудочно-кишечные заболевания и др.). Эти явления приписывают не только загрязненности воздуха, но и волжской воде, а также употребляемым в пищу различным видам рыбы.

Загрязненность воздуха в отдельных регионах достигла такого уровня, что в некоторых городах уже следует переселять жителей из так называемой санитарной зоны. В разных уголках нашей страны участились так называемые «кислотные дожди», что вызвало различные виды тяжелых заболеваний (в «составе» воды выпавшего в июне 1988 года в районе украинского города Черновцы кислотного дождя был металлический калий, один грамм которого, разведенный в миллионе литров воды, вызывает интоксикацию организма. Этот дождь стал причиной заболевания 130 детей). Возросла смертность: если, например, в 1960 году она была 7,1 на каждую тысячу населения, то в 1986 году этот показатель достиг 9,8.

Весьма показательны результаты изучения арктических льдов. Выяснилось, что за последние 100 лет содержание углекислоты в атмосфере увеличилось в полтора раза. На проведенном в городе Торонто (Канада) конгрессе климатологов отмечалось, что человечество каждый год «выбрасывает» в атмосферу 22 миллиарда тонн углекислоты, и уже сегодня достигнута критическая черта. На этом конгрессе сочли необходимым сократить к 2005 году выброс углекислоты в атмосферу на 20 процентов. А состоявшийся недавно в Гамбурге конгресс «Климат и будущее» потребовал довести эту величину до 30 процентов (а к 2015 году — даже до 60 процентов).

Весьма интересно еще одно сообщение. Участники проведенного в октябре 1988 года в швейцарском городе Монтре 13-го Международного конгресса по аллергологии и клинической иммунологии в своем большинстве высказали мнение, что интенсивный рост аллергических заболеваний в промышленно развитых странах непосредственно связан с загрязнением сре-

ды; частые экологические изменения способствуют, оказываясь, появлению значительного количества и новых аллергенов.

Сильное загрязнение воздуха вызвано обилием в городах автомашин разных марок. Для многих регионов это — главный «источник» загрязнения воздуха. В этом отношении неблагоприятное положение создано в Армении, Грузии и Казахстане. Армянскими специалистами установлено, что от автобусов марки «Икарус» в Ереване за год в атмосферу выбрасывается приблизительно 190 миллиардов кубических метров вредных выхлопов. Если к этому прибавить выхлопы 130 тысяч автомашин (а они «прописаны» в городе постоянно), картина и в самом деле становится весьма тревожной. Думается, настало время провести всесторонне продуманные и планомерные исследования и в Тбилиси, чтобы с целью оздоровления обстановки составить динамическую картину загрязнения атмосферы города: столица нашей республики достаточно перегружена легковыми автомашинами различных марок. Судите сами: в Советском Союзе по числу легковых автомобилей, приходящихся на каждую 1.000 жителей, после Эстонии (127) и Литвы (100) Грузия вместе с Латвией делит третье и четвертое места (84). На первый взгляд 84 легковых автомашины на тысячу жителей вроде бы и не столь уж большой показатель (в Японии он составляет 221, в Англии — 330, во Франции — 356, в США — 560), но если учесть географическое положение города (размещение в котловине), плотность зданий, малое количество садов и парков с их микрощадиными, значительный рост города в одном направлении (что вызывает резкое снижение естественной вентиляции), тенденцию ежегодного увеличения количества автомашин и средний показатель в Тбилиси, который намного выше среднереспубликанского, то мы находимся перед серьезной опасностью. И если сегодня не принять необходимых мер, то и мы будем вынуждены, наподобие некоторых городов мира, производить и торговать расфасованным в посуде кислородом или пользоваться автоматическими установками на улицах для выдачи кислорода (в Токио открылся первый в мире кислородный бар, а в Калифорнии по данным 1988 года одна порция кислорода стоит 90 центов, а четырехлитровый сосуд — 6 долларов).

Хочется особо подчеркнуть — об этом свидетельствует и мировой опыт: экология и сокрытие фактов — несовместимы. И если мы желаем добра нашему народу, нельзя утаивать данные, собранные в нашем городе. Общество, располагающее необходимыми сведениями, способно разобраться в существующей



щей экологической ситуации и разработать определенную программу мер во имя своего оздоровления. Может быть, стоит хотя один день в неделю пользоваться экологически чистым транспортом — метро, троллейбусом, трамваем? — Этот вопрос уже прозвучал в прессе. А если установить график движения в городе легковых автомобилей по цвету (например, запретим движение по городу автомашин белого цвета по понедельникам, зеленого — по вторникам, синего — по средам и т. д.)? А если строго запретить разезды государственных автомобилей по субботам и воскресеньям? Думаю, что совместными усилиями можно значительно облегчить существующее в городе положение.

Установлено, что легковая автомашина среднего типа на каждый километр пути расходует 350 граммов кислорода. Если воспользоваться этим показателем, то получается, что каждый легковой автомобиль в городе Тбилиси за 12—20 дней поглощает столько кислорода, сколько необходимо каждому человеку в течение целого года. Надо знать и то, что каждая легковая автомашина на протяжении года выделяет в виде выхлопа до 400 килограммов токсических веществ (углекислоты — 358 килограммов, углеводорода — 110, азотной кислоты и серы — 20, копоти — 2 килограмма). Понятно, что «расходы» и выхлоп вредных веществ у грузовых автомобилей и автобусов намного больше. Необходимо безотлагательно принять меры, чтобы за максимально возможный короткий период осуществить перевод всех курсирующих по территории Грузии автобусов и грузовых автомашин (не говоря уже о легковых) на экологически более чистое горючее (неэтилированный бензин, сжиженный и сжатый газ и др.), создать соответствующие автозаправочные станции. Тем более, что применение в качестве топлива для автомашин сжиженного и сжатого газа оправдано не только с экологической точки зрения, но и с экономической и технической стороны, так как газ дешевле нефти и его применение на 25 процентов продлевает продолжительность работы двигателя и, наконец, газ в природе менее дефицитный продукт, чем нефть.


Загрязнение воздуха явилось также одной из причин того, что в Красную книгу республики уже занесены 151 вид растений (в том числе 61 — древесное), а 18 видов животных и птиц полностью выродились. Из видов фауны сегодня на грани вырождения — 12, а к редким мы уже можем причислить еще 35 разновидностей животных и птиц (в значительной степени «хорошо потрудились» и многочисленные браконьеры).

Установлено, что такая концентрация вредных выбросов в воздух, которую человек вообще не в состоянии ощутить, может оказаться губительной для наших лесов, чудом спасшихся от огня и топора многочисленных посягателей (в настоящее время леса занимают 38,5 процента территории Грузии, в них произрастают более 250 видов древесных и кустарниковых пород). Известен печальный пример в связи с лесами в Федеративной Республике Германии. В 1982 году отрицательное влияние загрязненности воздуха сказалось только на 7,7 процента лесов, в 1984 году этот показатель достиг уже почти 50 процентов. В некоторых регионах этой страны (например, Рейнланд-Пфальц) на 11 процентах территории лесов лечение уже невозможно: здесь «деревья умирают стоя». Здравое оценив создавшуюся ситуацию — возможность экологической катастрофы (массовой гибели лесов ФРГ еще до вредных выхлопов автомашин способствовали так называемые «кислотные дожди» еще в 1960—1965 годах) и восприняв гибель лесов как национальное бедствие, большинство населения под лозунгом — «сначала умирает лес, потом — человек», активно взялось за охрану зеленого покрова. Чтобы до минимума свести объем вредоносного выхлопа, пришлось прибегнуть к широкому использованию технических устройств (к аналогичным мерам в США прибегают еще с 1975 года). Владельцы экологически «чистых» автомашин на определенный срок освобождаются от налоговых выплат так же, как и те предприятия, которые торгуют бензином, не содержащим свинцовых минералов. В короткий промежуток времени примеру ФРГ последовали Бельгия и Голландия. С 1988 года частично и в Венгрии начали продавать такой бензин. Большие работы в этом направлении ведутся и в Швейцарии (здесь из-за заболевания лесов ежегодно проводится рубка деревьев в объеме до 140 тысяч кубометров).

Хотелось бы и у нас использовать опыт ученых Западной Германии, которые с помощью специально созданной рентгеновой установки, оснащенной компьютерами, своевременно выявляют заболевшие деревья, быстро ставят диагноз, что и является залогом правильного лечения зеленых насаждений.

Каждый гектар леса обеспечивает кислородом на год хотя бы 8—10 человек (человеку ежегодно требуется примерно 250 килограммов кислорода). Отношение к лесу лишь с позиций потребителя как к источнику топлива, строительных материалов, целлюлозы, картона, древесного спирта, лакокрасочных материалов, искусственного шелка или множества других различных продуктов и изделий вызывает серьезный протест. Мас-





совая вырубка лесов (например, за четыре века на территории США вырублено не менее 540 миллионов гектаров леса; в тропических лесах, которые называют легкими нашей планеты, ежегодно сводят 11 миллионов гектаров, в результате чего за этот период пустыня «захватывает» 6 миллионов гектаров; в Грузии только в 1911—1917 годах уничтожено до 344 тысяч гектаров леса) во многих регионах мира породила наводнения, частое образование снежных лавин, формирование грязекаменных потоков, оползней и других стихийных явлений. Надо помнить, что лес приглушает шум, снижает уровень наводнения, увлажняет воздух, смягчает климат, в значительном количестве поглощает двуокись кислорода и др., оживляет и защищает чистые родники и ручьи, питает и нас чистым воздухом. Учитывая же, что каждому человеку на протяжении его жизни нужны триста деревьев (дом, мебель, книги, журналы, газеты, писчая бумага, спички, карандаши и многое другое), становится ясным, что наша зависимость от леса чрезвычайно велика.

Серьезного внимания и бережного отношения требует к себе и травяной покров. Это ведь не только защита почвы от эрозии, пастбище, сенокос либо источник наших положительных эмоций (а разве этого мало?). Нельзя забывать, что это наш лекарь и друг.

40 процентов наших лечебных препаратов готовятся именно из растений (мята — это валидол, корвалол, капли Зеленина, всем известные валериановые капли — из ассарона или валерьяны; папаверин и кодеин — из мака; желчегонный препарат «фламин» — из медуницы; препарат против воспалительных или гнойных процессов кожи «иманин» — из зверобоя и т. д.). Народная медицина использует примерно 400 растений, тибетская — более 700, а аптечная промышленность — до 200. К сожалению, фитотерапия (лечение растениями) у нас еще не имеет должного распространения.

В Грузии почти забыты богатые традиции древнейшей колхидской и последующих периодов фармакологии, основанной на лечении самыми различными видами трав и передававшейся из поколения в поколение. К сожалению, лечебные свойства многих растений еще не установлены. Поэтому уничтожение отдельных представителей травяного покрова может стать весьма плачевным для наших потомков, которые будут иметь о них представление только по картинкам, поскольку исчезновение того или иного растения (так же, как и животного), как и естественной экосистемы — процесс необратимый.

Достойна всяческой похвалы инициатива Бакурианского высокогорного ботанического сада по разведению на его территории разных видов трав, завезенных из высокогорных районов Кавказа. Сегодня особенно необходимо пополнить коллекцию сада редкими растениями, находящимися на пути к вырождению. Здесь хочется привести один любопытный факт: правительство Швейцарии, заботясь о сохранении отдельных видов травяного покрова, обратилось к сельским жителям с просьбой при обработке своих участков оставлять нераспаханной пятиметровую полосу вокруг надела. В настоящее время убыток от «потерянной» площади крестьянству возмещает правительство.

Уничтожение зеленого покрова угрожает нам не только ухудшением состояния воздуха и кислородным голодом, но наряду с другими неблагоприятными явлениями и интенсивной эрозией почвы, из-за которой сегодня в мире теряются огромные пространства. Потеря же каждого гектара — будь то пашня, сенокос или пастбище — непоправимая утрата. Если раньше халатность или бесхозяйственность вели к потере ежегодно в мировом масштабе в среднем приблизительно 200 тысяч гектаров земли, то теперь из оборота каждый год выпадает уже 6 миллионов гектаров. Человечество потеряло уже намного больше площади (примерно 2 миллиарда гектаров), чем сейчас использует (приблизительно 1,5 миллиарда гектаров). Из-за безрассудной (я не нашел более подходящего определения) деятельности человека более 30 процентов поверхности земли занимают пустыни и полупустыни.

Уроком для нас должен служить пример Китая, где с лишенным зеленого покрова эрозированных участков реки унесли не менее 175 миллиардов тонн почвы. Не могу не привести мысль из одного документа, изданного под эгидой Организации Объединенных Наций. Суть ее примерно такая: землю мы получили не в наследство, — мы имеем ее взаймы от наших детей. Мудрая мысль, и главное, — заставляет нас помнить о том, какая ответственность лежит на человечестве перед будущими поколениями. Особенно важно это для нас, грузин, испытывающих острый дефицит пригодных для сельскохозяйственного производства земель (за последние 20—25 лет примерно 100 тысяч гектаров пашни перешли в «низший ранг», а до 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий подвержены эрозии). Не будем ли мы вынуждены, как предсказывают некоторые исследователи у нас и за рубежом, из-за безрассудных своих действий в отношении природы и гря-



дущего демографического бума, покинуть землю и переселиться в космос (предполагают, что к 2000 году население планеты достигнет 6,5 миллиардов человек, а через 200 лет, когда на суше уже не будет нефти, каменного угля, серебра, вольфрама, никеля, меди и других металлов и неметаллов, когда вода и воздух будут загрязнены настолько, что станут непригодны для жизни, население достигнет 100 миллиардов человек).

Сегодня нам совершенно необходимо использовать все уровни, чтобы обеспечить уход и разумное хозяйствование в каждом регионе нашего горного края, на каждой пяди земли, разработать и осуществить меры как искусственного, так и естественного восстановления полноценных лесов, активно внедрять средства против эрозионно-селевых явлений. Нельзя больше игнорировать нормативы нагрузки пастбищ и установленные трассы для перегона овечьих отар, так как в противном случае мы сами разрушаем основу нашего завтрашнего существования. Одна из проверок, проведенных Комитетом народного контроля СССР в Прикаспии, где на зимних пастбищах находятся овцы из нашей республики, выявила, что на некоторых стоянках количество неучтенных овец в 20(!) раз превышало учтенных. Некоторые оставляют здесь отары и на лето, что повлекло за собой деградацию травяного покрова и рост пустынь на 40—50 тысяч гектаров ежегодно. Сегодня крайне недопустимо распахать для различных нужд без глубокого анализа, без учета возможных завтрашних последствий даже отдельные участки, расположенные на склонах, покрытые травяным покровом или кустарником, поскольку таким образом можно заложить основу мощного эрозионного очага. Так произошло, например, на Дидвели (бассейн реки Тэтри Арагви), где в настоящее время имеет место интенсивный смыв почвы; после дождя стекающая со склонов вода разрушает правые склоны реки Хадас-Хеви, веками находившиеся в равновесии, и создает угрозу селу Бедони. Для защиты этого села сегодня нужно построить водосборный канал, который будет собирать стекающие со склонов дождевые воды и «сбрасывать» их в безопасном месте.

Тщательное, бережное отношение требуется к источникам питьевой воды, самому драгоценному «сырью» нашей планеты и составляющим гордость нашей природы. Многие реки, из которых осуществляется снабжение водой городов и других населенных пунктов, сверх всякой меры замусорены и загрязнены. В докладе Национальной ассоциации охраны природы Соединенных Штатов Америки отмечено, что 26 миллионов американ-

цев пьют такую воду, которая заражена разного вида бактериями; 10 миллионов — воду с радиоактивными веществами, а 7 миллионов используют для питья воду, которая содержит пестициды и свинец. Если несколько лет назад великая русская река Волга-матушка только на отдельных участках отличалась загрязненностью — у города Горького или у Волгограда (только в районе Горького в реку ежедневно сбрасывается 230 тысяч кубических литров воды, загрязненной предприятиями, что оборачивается гибелью ценных пород рыбы: в настоящее время из существовавших здесь 57 видов рыбы — 21 уничтожен), то сегодня она загрязнена от истока до устья. По данным различных институтов Астрахани в дельту Волги ежегодно вливается приблизительно 1 миллиард 136 миллионов кубических литров воды, загрязненной предприятиями. По данным Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства иногда в рыбе, пойманной в устье Волги, содержание пестицидов в 2—5 раз превышает допустимые нормы. Каково сегодня положение нашей матери-реки Мтквари (Куры)? Она основательно загрязнена сбрасываемыми в нее водами промышленного или бытового назначения. Загрязнены и те маленькие речки, что впадают в нее в черте города Тбилиси. По данным Тбилисской зональной инспекции по охране природы в речке Вере (когда-то в месте ее впадения в Мтквари был один из лучших пляжей для молодежи, купавшейся в реке) содержание фенола в двести раз превышает норму, а нефтепродуктов — в 160 раз. Сегодня уже недопустимо медлить со строительством магистральных коллекторов по обоим берегам реки, которые с целью очистки сбросят загрязненные воды в Тбилиско-Руставское региональное водоочистное сооружение.

Именно употребление для питья загрязненной воды является причиной того, что в разных регионах нашей страны возросло количество заболевших кишечными болезнями и брюшным тифом. Число больных желудочно-кишечными заболеваниями в Кара-Калпакии в 29 раз превышает этот показатель Российской Федерации. Особенно много больных брюшным тифом в Таджикистане, где более 30 процентов населения пьют воду из оросительных каналов. Последние в свою очередь загрязнены разного типа ядохимикатами, азотом и вызывающими болезни бактериями. Печальные последствия сопутствуют авариям на водопроводах. В Риге 600 человек отравились питьевой водой и заболели желтухой, в Цхинвали по той же причине свирепствовал брюшной тиф и т. д.

Сегодня преступно устанавливать автозаправочные или



автомоечные станции на берегах рек (озер, водохранилищ и др.), если у них нет бассейнов для сбора пролитых на землю нефтепродуктов, которые, даже в незначительном количестве попадая в воду, делают ее непригодной для питья (один грамм нефти «портит» тонну питьевой воды).

Почему-то многие руководители предприятий, пренебрегая элементарными санитарными нормами и техникой безопасности, размещают удобрения, ядохимикаты или другие вредные вещества непосредственно на берегах рек. К чему приводит подобная «деятельность», уже известно. Достаточно вспомнить 12 августа 1988 года, когда с территории склада сырья Сачхерской хлопкопрядильной фабрики из-за того, что в резервуаре для хранения серной кислоты испортился кран, в реку Квирилу (не хватало ей других бед!) вылилась агрессивная жидкость, что вызвало массовую гибель рыбы. Или другой факт: в свирском совхозе пало 115 голов скота из-за того, что сенаж смешали с азотными удобрениями. Можно привести и другие примеры.

Сегодня мы сталкиваемся с тяжелой, неприглядной картиной происходящего на многих озерах или водохранилищах. Кислотные дожди явились причиной серьезной опасности для девяти тысяч озер штатов Америки, расположенных на востоке страны. Высыхание и загрязнение нашего континентального озера Арал угрожает всей республике (Кара-Калпакии), расположенной в регионе озера. Уровень Арала сегодня опустился на 13 метров, а поверхность его зеркала уменьшилась с 64,5 тысячи квадратных километров до 40 тысяч. Для его спасения, а точнее — сохранения его в сегодняшнем виде (восстановления былого уровня на нынешнем этапе невозможно) необходимо осуществить сложные инженерные работы, что и обусловило создание специальной строительной организации — «Аралводстрой».

Неблагоприятна экологическая ситуация и вокруг одного из величайших озер Советского Союза, уникального природного водоема Байкала. В этом регионе расположено более 700 объектов сельскохозяйственного производства, из которых почти все находятся вблизи от тех рек и ручьев, которые впадают в Байкал. Это и увеличило попадание в озеро ядохимикатов, удобрений, нефтепродуктов и других вредных веществ. В настоящее время уже выведено из непосредственной близости к этим рекам до 60 объектов. Для оценки социально-экологической ситуации, создавшейся вокруг Байкала, недавно создана специальная комиссия, в состав которой, кроме ответственных

рабочников и ученых нашей страны, приглашены также экологи из Соединенных Штатов Америки. Экологическая катастрофа угрожает также и самому большому озеру Европы — Балхашскому и другим.

Загрязненность многих водохранилищ как у нас, так и за рубежом привела к гибели почти всех видов рыбы. Ответственность в основном ложится на те предприятия, которые «сбрасывают» сюда использованные для производства воды с высокой дозой загрязнения. Например, в 1987 году в Рыбинском и Шекснинском водохранилищах было истреблено неизмеримое количество различных видов рыбы, и ущерб был оценен в 20 с лишним миллионов рублей. Сегодня установлено, что опасно употреблять в пищу рыбу, которая обитает в озере Балхаш и Куйбышевском водохранилище.

Чрезвычайное положение возникло в морях и океанах. Ежегодно сюда попадает по весу втрое больше мусора, чем мы получаем продуктов питания (сегодня промышленные отходы находят не только на дне, на больших глубинах океанов и морей, но даже в Арктике и Антарктиде). Неблагоприятная экологическая ситуация и на внутренних морях, какими являются Балтийское, Черное (примерно 40 лет назад здесь обитало 2,5 миллиона дельфинов, сейчас их количество не превышает 100 тысяч, и это несмотря на то, что этот промысел с 1970 года строго запрещен), Средиземное море (только одна река Италии — По вносит в Адриатическое море 30 тысяч тонн фосфора, 80 тысяч тонн азота, 60 тысяч тонн углерода, тысячу тонн свинца, тысячу тонн хрома, 3 тысячи тонн цинка, 250 тонн мышьяка в год), Японское и другие моря. Впадающие в эти моря реки в неизмеримых количествах вносят различные виды удобрений (азот, фосфор и другие ядохимикаты), которые оказывают значительное воздействие на морскую флору и фауну. Установлено, что чувствительность рыбы к химикатам в сто, а иногда и в тысячу раз выше в сравнении с теплокровными животными. Катастрофически сократилось количество многих разновидностей рыбы, особенно ее уникальных видов. Сейчас некоторые государства (Норвегия, Япония, Китай и др.) с помощью специальных рыбопитомников, где используют профильтрованную и всесторонне обезвреженную морскую воду, стремятся восполнить эту потерю. С целью обеспечить здоровье людей в Швеции использовать в пищу рыбу, добытую в Балтийском море, разрешается только раз в неделю.

И у нас рыба, обитающая в Черном и Азовском морях, содержит вредные вещества почти в предельной дозе. Чтобы



люди знали, что они едят, во многих странах на этикетках рыбных консервов показаны те химические элементы и вещества, которые входят в состав рыбы, из которой изготовлены эти консервы (наподобие того, как это указано на бутылках с той или иной минеральной водой).

Нельзя не сказать и о том, что в последнее время на приморских курортах среди купающихся в море значительно возросло число заболевших аллергическими и желудочнокишечными болезнями, что обусловлено перегруженностью пляжей и частыми авариями канализационной сети (на курорте Сочи в период купального сезона 1988 года в среднем каждую неделю имела место авария, в результате чего морская вода иногда была загрязнена в 20 и более раз выше нормы). В южной части нашего побережья Черного моря именно Батумский нефтеперерабатывающий завод положил начало выбросу в воздух вредных веществ, распространению неприятного запаха, мазутных вод, которые в основном распространяются между Зеленым мысом и Кубулету. У завода фактически нет санитарно-охранной зоны, и никак не осуществится или его ликвидация или капитальная реконструкция.

Экологическая беда угрожает даже бассейну Арктики (причисленному некоторыми исследователями к чистой зоне), поскольку наши северные реки в неизмеримых количествах несут туда нефтепродукты (по неточным данным одна только величайшая река нашей страны — Обь ежегодно «вносит» в Карское море 100 тысяч тонн нефтепродуктов). На местные экосистемы значительное воздействие оказывают частые аварии на скважинах и газопроводах.

На морях и океанах создается сложная ситуация из-за тех катастроф, которые наряду с другими кораблями терпят перевозящие нефтепродукты танкеры (в среднем ежегодно в морях и океанах гибнет до 300 кораблей различного назначения). Американскими специалистами установлено, что из всей добываемой в мире нефти 0,1 процента, то есть, примерно 3,5 миллиона тонн разливается по морям и океанам, образующим на поверхности губительную для живых организмов пленку.

Исследования показали, что за последние 30 лет в результате аварий на химических и нефтяных предприятиях ущерб, причиненный в мировом масштабе, составляет 3,5 миллиарда долларов. Следует вместе с тем отметить и то, что в первые 10 лет имели место 13 крупных аварий, за второе десятилетие — 29, а в последние 10 лет — 58, то есть, в каждое последующее десятилетие число крупных аварий удваивается.

В 1974 году благодаря известному французскому океанологу Жаку Кусто и итальянскому юристу Альберту Марини была предотвращена одна из самых страшных экологических катастроф в истории существования Земли. В том году югославский корабль «Савта», на котором было 900 цистерн с высокотоксичными веществами (примерно 300 тонн), столкнувшись с итальянским судном, затонул из-за небрежного отношения обоих капитанов к своим обязанностям. Угроза отравления нависла над всем бассейном Средиземного моря. Извлечение этих цистерн со дна моря обошлось в 13 миллионов долларов, что составляет не такую уж малую сумму. Но стоимость этих работ ничто в сравнении с тем безмерным ущербом (ведь человеческую жизнь невозможно оценить), который мог иметь место.

На четырехдневном форуме во Флоренции, проведенном осенью 1988 года по вопросам защиты среды, повышения ответственности отдельных лиц или организаций за охрану природы, были представлены партии и организации (всего 40) разных стран Европы, и принята декларация, где наряду с другими вопросами было предложено Европейскому экономическому сообществу выработать законодательство, по которому любое необдуманное вмешательство в природу приравнивалось к злостному преступлению.

Как же расценивать факт, когда некоторые производители сельскохозяйственных продуктов с целью увеличения урожая, абсолютно не анализируя возможные последствия, без всякой меры применяют различные химические удобрения и пестициды? В настоящее время 87 процентов наших сельскохозяйственных земель обрабатывается с использованием пестицидов. Если в 1985 году наша страна затратила на приобретение пестицидов 170 миллионов рублей, то в 1987 году этот показатель составил уже 500 миллионов рублей. Установлено, что в реки и водоемы попадает от тридцати до семидесяти процентов минеральных удобрений и пестицидов (90 процентов и больше использованных пестицидов не доходит до цели и рассеивается в окружающей среде). Из-за применения пестицидов в настоящее время в мире ежегодно (исключая СССР) подвергаются отравлению 2 миллиона человек, из которых 50 тысяч умирают. Неблагоприятная картина и в Грузии. Сегодня грузин с сомнением относится к фруктам, овощам, бахчевым, выращенным его же соотечественником. Как правило, овощи и бахчевые содержат нитраты (соли азотной кислоты), которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращаются в нитри-



ты (азотные кислоты), отравляющие наш организм. Дневная допустимая норма этих веществ лишь 500 миллиграммов на один килограмм продуктов. Понятно, прием их в более высокой дозе (600 миллиграммов уже токсичны) опасен для жизни. Некоторые из тех, кто выращивает эти арбузы и дыни огромной величины, из страха отравиться даже не прикасаются к плодам своих «усилий», появившимся в результате чрезмерного применения химических удобрений, не задумываясь, что купленные ими у других картофель, капуста, огурцы и другие овощи, ежедневно употребляемые в пищу, могут быть выращены такими же жадными до денег крестьянами.

Анализ на содержание нитратов в бахчевых, завозимых для реализации в плодоовощные магазины и на колхозные рынки, — если не полностью, то хотя бы выборочно, сегодня уже совершенно необходим. Следует резко повысить ответственность лиц, которым вменена в обязанность эта проверка, так как практика показала, что выдаются «липовые» справки на многие товары. Например, на остров Сахалин в большом количестве доставили из Узбекистана дыни со справкой (сертификатом) о допустимом количестве содержащихся нитратов. При проверке выяснилось, что нитратов содержится в 2—4 и больше раз выше допустимого — 148 тонн дынь (стоимостью 370 тысяч рублей) пришлось выбросить, как и 270 тонн капусты и другие продукты.

Думаю, настало время, чтобы на наших базарах у каждого вида товаров был бы (как это имеет место в городе Фрунзе) ярлык, на котором должно быть отмечено, какое количество нитратов содержит продаваемая продукция, а также предельно допустимое их количество. И дело надо поставить так, чтобы ни у кого не вызывали сомнения приведенные цифры. Иначе не удастся отбить охоту у любителей легкой наживы к использованию ядохимикатов и неорганических удобрений и открыть дорогу на рынок честному крестьянину, а главное — обеспечить наших соотечественников здоровыми продуктами.

Хочу привлечь внимание к еще одному наболевшему вопросу. Все мы знаем, что дорога, как говорили древние римляне, это жизнь. Сегодня дороги могут сыграть решающую роль в освоении горных зон и закреплении на месте находящегося там населения. Бездорожье — одна из основных, но не единственная причина опустения наших горных сел. В свою очередь следует помнить, что прокладка дороги означает вторжение в целостность ландшафта, нарушение его самобытности и ритма жизни, потерю определенной части леса, сенокосов или

пастбищ и пр. Поэтому наши действия должны быть всесторонне обдуманными, осмысленными и как можно менее болезненными для природы. К сожалению, мы часто об этом забываем, когда, руководствуясь благородным мотивом развития горных регионов и закрепления на месте населения, без соответствующего экологического подхода, широко ведем строительство железных и автомобильных дорог того или иного назначения, беря на вооружение совершенно неоправданный и изживший себя лозунг — «быстро и дешево!». В горных условиях поспешность, аритмия и экономия, во-первых, как правило, не в состоянии обеспечивать гарантированную надежность коммуникационного или иного вида строительства, а, во-вторых, именно в этом случае имеет место интенсивное и необратимое развитие эрозионных явлений, не говоря уже о многих других отрицательных последствиях. При прокладке в горах любого типа дорог должны быть приняты все меры по сохранению устойчивости склонов и их озеленению, по предотвращению с самого же начала деформаций полотна по сбору стока воды и переброске ее в безопасное место и др. А для этого нужны значительные капитальные вложения. Мы же строим в горах автодороги в основном 4-й категории, а то и вообще вне какой-либо категории. Проложенную бульдозерами и с помощью мощных взрывов, на первый взгляд, весьма экономичную дорогу после сдачи в эксплуатацию обычно оставляют бесхозной. Вот из-за этого достигнутая экономия в дальнейшем требует куда более значительных средств на бесконечные ремонтно-восстановительные работы для уже проложенных дорог и укрепления поврежденных взрывами склонов.

Следует откровенно сказать, что нигде уже не пользуются такими методами строительства дорог. В Альпах, например, прокладка каждого километра дороги приблизительно в 8 раз превышает стоимость дорог, прокладываемых в долинах. В результате до минимума доведены расходы на их ремонт и эксплуатацию, почти полностью исключено развитие эрозионных явлений и оползней.

Пора и нам использовать опыт Австрии и других горных стран, строить меньше, но хорошо, а не много и некачественно. Нельзя не отметить, что у нас, к сожалению, все проекты строительства дорог осуществляются без какого-либо публичного обсуждения, учитываются только интересы проектных и строительных организаций, причем, некоторые наиболее важные экологические вопросы решаются специалистами, не обладающими достаточной компетентностью в этой отрасли.



Не могу не высказать свои соображения о некоторых необходимых мерах по закреплению населения, проживающего в горных регионах, способствовавших бы решению этой проблемы (некоторые специалисты считают, что разрешить ее можно одной лишь прокладкой дороги). Понятно, что дорога, электричество, почта, телевидение, детские сады-ясли и водопровод — это те основополагающие факторы нашего сегодняшнего быта, но, как показала практика, этих атрибутов еще недостаточно для осуществления поставленной задачи. По моему глубокому убеждению, урегулировать эту проблему можно будет, лишь решив, помимо названных, целый ряд других вопросов для высокогорных регионов. Например, на продукты сельского хозяйства должны быть установлены (по сравнению с узаконенными государством) более высокие закупочные цены; специалисты с высшим образованием в этом регионе должны получать помимо заработной платы значительные надбавки к ней в размере не менее 50—80 процентов и обеспечиваться заранее построенными небольшими, но комфортабельными коттеджами; пенсионный возраст для работающих здесь специалистов должен быть уменьшен минимум на пять лет. И главное — за каждым жителем должен быть узаконен в вечное пользование и в достаточном размере приусадебный участок, а также пастбища или сенокосы. Параллельно с этим нужно урегулировать вопрос открытия разного типа цехов малой мощности, но оснащенных современным оборудованием, например, шерстечесального и прядильного, по обработке кожи, ткацкого, по производству сыра и масла, по разведению форели, сувенирного и др. Здесь должны быть возведены небольшие гостиницы и кемпинги, желательно построить дома отдыха для отдельных семей (с целью ускорения строительства следует широко использовать сборные дома). Электрификацию следует осуществлять за счет малых электростанций (об этом был разговор в прессе), или же использовать энергию ветра, благодаря чему можно с самого же начала избежать пагубного вторжения в природу (у нас уже разработаны и внедряются электростанции мощностью 100 и 1000 киловатт; электростанция на 1000 киловатт приблизительно обходится в 400 тысяч рублей). Все это, надеюсь, послужит закреплению населения в этих регионах, обеспечит его занятость, привлечет новоселов в эти места.

В момент нашего глубокого беспокойства по поводу опустынивания горных сел мы часто сами осуществляем переселение жителей из так называемой опасной зоны (за последние 15 лет в республике из отведенных в личное пользование 4.143 гекта-

ров более 30 процентов — 1.271 гектар выделены пострадавшим от стихийных бедствий). Понятно, что это весьма радикальная и на первый взгляд гуманная акция, но всегда ли необходимо переселять из древнейших сел все население? Разве нельзя во многих случаях ограничиться переселением только части населения? Разве мы не можем в короткое время качественно и надежно обеспечить им защиту от стихийных бедствий (от тех же снежных лавин, наводнений, грязекаменных потоков)? И разве та сумма, которую государство затратило на строительство жилья для них в других регионах, не была бы достаточной для проведения в районах выселения работ по восстановлению нарушенного экологического равновесия?

Если бы в Европе относились к выселению как к благоприятному фактору, то Французские, Итальянские и Австрийские Альпы уже давно опустели. Сегодня же в Альпах проживает 9 миллионов человек, да еще ежегодно отдыхают в этом краю приблизительно 40 миллионов.

С помощью широкого проведения комплексных фитомелиоративных и гидротехнических и организационно-хозяйственных мер, причем даже не прибегая к временному переселению жителей этих регионов, можно сразу решить три проблемы: сохранить древние села, восстановить нарушенное (или законсервировать существующее) экологическое равновесие, целевым назначением использовать сельскохозяйственные угодья в долинах (куда предполагается осуществить выселение).

Грустный тон этой публикации и удручающие даже в неполном освещении картины небрежного обращения с природой в мире продиктованы отнюдь не желанием сломить наш дух, а наоборот — пробудить высокий интерес нашей широкой общественности к экологическим проблемам Грузии, хотя бы частично повысить чувство ответственности руководителей отдельных предприятий, чтобы не допустить еще большего обострения существующей экологической ситуации и предотвратить возможность необратимого процесса.

Мы надеемся, что совместными усилиями специалистов будет создана карта экологической ситуации Грузии с программой поэтапного осуществления необходимых мер, к которым никто не останется равнодушным. Медлить больше нельзя!

Перевод Р. ЗЛАТКИНА







Валериан УТУРГАУРИ

Светлой памяти  
Иосифа Нонешвили.

## „ГРУЗИНСКИЙ ФЕНОМЕН“

Сосед по купе, читавший грузинскую «Литературку», обратил мое внимание на «Письмо из Израиля». Его автор, Абрам Сепиашвили, редактор газеты «Алиа», издающейся в этой стране на грузинском и иврите, рассказывал об «Обществе имени Руставели», созданном в Тель-Авиве двенадцать лет назад.

О существовании этого общества мне было известно. Однако последний абзац «Письма» заставил задуматься и мысленно перенестись на много лет назад к событиям, которые врезались в память, обострили восприятие прошлого и настоящего моей Родины — Грузии и Тбилиси — города моего детства и юности.

Рассказывая о сегодняшнем Израиле, население которого отличается весьма пестрым составом благодаря иммигрантам, прибывшим сюда в последние десятилетия, Сепиашвили отмечал, что большинство этих людей хранит недобрую память о притеснениях или неравноправном положении, в котором они находились до переезда в Израиль. Исключением — по словам автора — являются выходцы из Грузии — страны, которая двадцать веков назад дала евреям приют и на протяжении этих двух тысячелетий не делала никакого различия между ними и собственными сыновьями.

Это обстоятельство обусловило создание в Израиле переселенцами из Грузии «Общества имени Руставели», которое «...призвано не дать угаснуть в сознании грузинских евреев,

\* Печатается с сокращениями.

ныне проживающих в Израиле, огромному значению этого беспрецедентного исторического факта».

Именно эта фраза вернула меня к прошлому. Память высветила в мельчайших подробностях годы работы за рубежом в сложной обстановке антисоветского политического климата, создаваемого правительствами стран, где приходилось жить и трудиться.

...Все началось в Москве со встречи с Иосифом Нонешвили. Морозным декабрьским днем я случайно встретил его на Неглинной. После взаимных приветствий мы выяснили, что у нас общий путь, ведущий в банк, где предстояло получить иностранную валюту в связи с командировками за рубеж.

Большой зал кассовых операций, обычно пустовавший, был заполнен людьми, по преимуществу мужчинами. Я не успел сообразить, что здесь происходит, как двое молодых людей, подойдя к нам, обратились к Иосифу со словами приветствия на грузинском языке. Рассказав о решении покинуть Грузию и переселиться в Израиль, на родину предков, они коснулись большого для них вопроса — реакция на это решение тех, с кем рядом жили, с кем хлеб-соль делили. Многие отнеслись с пониманием, другие были равнодушны, а третьи осудили, назвав их изменниками. Они с болью восприняли последнее, и один из юношей попросил Нонешвили высказать свою оценку их решения.

Нас окружало плотное кольцо людей, глаза которых выражали настороженность и тревогу. Они как бы вопрошали: а вдруг и он, неужели и он? Иосиф молча обвел взглядом стоявших перед ним и неторопливо, как бы размышляя вслух, ответил: «Я откровенно скажу вам, как отношусь к вашему решению, но и вы обещайте так же ответить на мой вопрос. Итак, я уверен, что в Тбилиси, Кутаиси и других городах и селах Грузии, где вы проживали, вас будет очень не хватать. Как смогу я равнодушно смотреть на опустевший Кулаши? Конечно, мне больно все это и трудно приветствовать ваше решение. Но если вы его приняли, если ваши сердца и разум подсказали его, значит так тому и быть, и поэтому я хочу от души пожелать всем вам доброго пути, мира и счастья на вновь обретаемой родине!»

Лица посветлели, поправились, в глазах исчезла тревога. Женский голос за нашими спинами произнес: «Гмадлобт, тквени чირи мэ!»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> «Спасибо, пусть ваши беды падут на меня!».



«А теперь, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, — продолжил он, — не увозите ли вы с собой обиду на Грузию и грузин? Не повлияло ли на ваше решение какое-либо действие с их стороны? Поверьте, это не праздный вопрос, мне это очень важно знать».

Молодой человек собрался было ответить, как вдруг по залу прошел шепот, люди начали раздвигаться, образуя проход. К Иосифу приближался мужчина с седой ухоженной бородой. По всему было видно, что он почитаем присутствовавшими.

«Здравствуйте, уважаемый Иосиф, — произнес он, подойдя к Нонешвили, — я не раз видел вас на экране телевизора, читал ваши стихи и отношусь к вам с глубоким уважением. Я не стал бы мешать вашей беседе, если бы не вопрос, ответить на который должен, по всей вероятности, я. Мне необходимо сделать это не только потому, что я здесь старший по возрасту, но и по той причине, что я также являюсь духовным пастырем этих людей и мне хорошо известны их чувства и чаяния, я знаю, о чем они молят Всевышнего. Разрешите мне ответить вам.

Более двух тысяч лет назад, в поисках убежища, наши предки пришли в Грузию, народ которой без раздумий дал им хлеб и кров. На протяжении этого времени Грузия оставалась страной, в которой евреи пользовались всеми правами наравне с грузинами и другими народами, нашедшими там, как и мы, приют. Не это ли обстоятельство привело наших предков к решению о замене древнееврейского языка грузинским и возведения его в родной язык?.. В этом акте проявилась не только благодарность, но и сопричастность ко всему грузинскому. С тех пор наш народ именуется не просто евреями, а грузинскими евреями, и этим сказано все.

Могут ли представители народа, по собственной воле назвавшегося грузинским, провозгласившего грузинский язык родным, покидая Грузию, бывшую им доброй родиной в течение тысячелетий, сказать или хотя бы подумать о ней что-либо плохое? Таких среди нас нет. Но ежели вдруг появится, не обижайтесь на него, пожалейте несчастного, ибо он наказан богом, лишившим его разума.

Поверьте, мы покидаем Грузию с душевной болью и чувством глубокой благодарности к ее народу — нашему народу. Мы ведь были единым целым и останемся им. Несмотря на то, что мы уезжаем, мы останемся грузинами душой и сердцем. Почему вы подумали о нас иначе?»

Услышав последнюю фразу, Иосиф побледнел, а затем в тишине, которая воцарилась в зале, прозвучал его взволнованный, несколько хрипловатый голос: «Отец мой, пожалуйста, извините меня, если мой вопрос обидел вас. Поверьте, я не хотел этого. Я опасался, не обидел ли кто вас в Грузии, и желал подтверждения, что этого не было. Мне будет больно, если вы уедете с обидой на меня, поэтому я еще раз прошу извинения».

Старец приблизился к нему, взял за локоть, посмотрел в глаза и улыбнулся. «Успокойтесь, пожалуйста, нет у нас никакой обиды ни на Грузию, ни на грузин и тем более на вас. В нашем нехитром багаже вы найдете учебники грузинского языка и литературы, собрания сочинений и книги грузинских писателей, в том числе и сборники ваших стихов. Нет у нас обид и на Советскую власть. К ней мы всегда относились с уважением. Вернетесь в Тбилиси, не поленитесь зайти в синагогу и прочесть текст Главной молитвы, вывешенный на стене. Там все предельно ясно<sup>1</sup>.

Мы уезжаем только потому, что дух предков наших взывает к возвращению на землю обетованную, откуда наш народ был изгнан. Раньше это было невозможно, а ныне пришло время возвращения. Помочь возродиться отчизне нашего народа — наш святой сыновний долг. В этом, и только в этом причина нашего решения. Завтра мы покидаем Советский Союз, и я очень рад, что здесь, в Москве, именно вы явились последним грузином, пожелавшим нам доброго пути. Это хорошее предзнаменование, и я благодарю вас. Пребудьте и вы с миром. Пусть вас не оставят любовь и уважение народа пишущего, читающего и говорящего на грузинском языке!

На прощание я хотел бы обратиться к вам с просьбой: если представится возможность, пожалуйста, расскажите народу Грузии о чувствах любви и уважения, которые мы питаем к нему и с которыми умрем, когда придет время. Видит бог, я говорю истину!»

Старец с Иосифом обнялись. Со всех сторон потянулись руки для прощания.

---

<sup>1</sup> Через несколько месяцев журналистская дотошность привела меня в тбилисскую синагогу. На стене я увидел текст той молитвы. Она начиналась так: «Отче наш небесный! Благослови Правительство Союза Советских Социалистических Республик — оплот мира во всем мире... Аминь!»



Мы получили валюту и ушли. Они остались ждать своей очереди.

В Дом литераторов, где Нонешвили ждала делегация, решили идти пешком. Шли молча. Иосиф иногда что-то шептал, но меня занимало сказанное ребе.

Чего только не пришлось повидать мне за годы, проведенные за рубежом. Я видел настоящие погромы. Не могу забыть, как огромная толпа в день начала «Шестидневной войны» на Ближнем Востоке, разгромив еврейские магазины и синагогу, в фанатичном экстазе растоптала, превратив в кровавое месиво, четырнадцатилетнего мальчика из-за того, что он был евреем. Я знал не по книгам и фильмам, что такое национальная отчужденность, расовая и племенная рознь, религиозный фанатизм и аскетизм.

Разумеется, я не оставался ко всему этому равнодушным, но оценивал происходящее как реальность, характерную для определенного региона, той или иной страны Европы, Америки, Африки или Ближнего Востока. Сравнивая положение дел у себя на родине с происходящим за рубежом, я как-то не задумывался глубоко над причинами подобной разницы, принимая грузинскую многонациональную действительность, не знавшую на протяжении своей многовековой истории ни погромов, ни расовых или национальных конфликтов, как естественную и саму собой разумеющуюся. Слова ребе заставили взглянуть на нее иначе и оценить по достоинству.

Вспомнилось детство, тбилисская школа, класс, в котором нас было около тридцати. Армяне, грузины, русские, евреи, грузинские евреи, украинцы, ассирийцы, немцы и литовец. Принцип наших взаимоотношений основывался на личных качествах и особенностях каждого из нас. Других критериев не было. Причем это не насаждалось кем-то искусственно, не диктовалось чьей-то волей. Как мне кажется сегодня, это было естественным отражением духа, царившего во дворах, на улицах Тбилиси и других городов и сел республики.

В сорок втором наш многонациональный семнадцатилетний класс добровольно ушел защищать Родину. Оставшиеся в живых в сорок пятом вернулись домой, и отношения между нами продолжались на привычной основе, разве только война по своему расставила акценты, отчетливее определив кто есть кто.

Университетская студенческая семья была еще шире по национальному составу, но жила теми же традициями. И так было повсюду, пока я жил и работал в Грузии.

Шагая рядом с Нонешвили по заснеженному Тверскому бульвару, я ворошил в памяти века грузинской истории, стараясь объяснить себе «грузинский феномен», как я уже постил то, что сыграло главную роль во многовековом процессе формирования национального состава Грузии и ее столицы.

Чем объяснить доброжелательное отношение грузин ко всем, кто приходил к ним, чтобы остаться жить на их земле?

С армянами грузин объединяло многое: богатейшее, тесно переплетенное историческое прошлое, высокая самобытная культура обеих наций, общая христианская религия, наконец, единый лютый враг в лице Ирана и Турции. А как быть с другими?

Нескончаемые нашествия на миролюбивую христианскую Грузию Ирана и Турции — агрессивных мусульманских государств, разрушенные города, сожженные села, уничтоженные памятники культуры, убитые, раненые и угнанные в рабство люди, планомерное и настойчивое омусульманивание христианского населения оккупированных грузинских земель — как все это совместить с добрым отношением грузин к жившему на их территории населению, исповедывавшему ислам? Чем объяснить, что в эпоху крестовых походов и религиозных войн в Тбилиси на крохотном пятачке, в двух шагах друг от друга возвышаются и мирно сосуществуют грузинский собор, армянская церковь, синагога и мечеть? Где искать корни грузинской веротерпимости?

Я сожалел, что не был знаком с трудами грузинских, армянских и азербайджанских историков и не знал, как они рассматривают и объясняют то, что я назвал «грузинским феноменом», как оценивают эту особенность грузинского национального характера, приобретающую в наши дни особую значимость.

Мои размышления прервал Иосиф. — Ты осознал всю глубину происшедшего? — спросил он меня. — Если мне скажут, что я не знаю своего народа, я усмехнусь в ответ, а тут такое! С каким тактом, как умно он разъяснил мне, как гимназисту, то, что я должен был знать и чувствовать.

— Не о том говоришь, — прервал я его, — ты лучше скажи, что и когда будешь писать об этих людях?

— Ты тоже считаешь, что надо?

— Безусловно, и, наверное, крупное по форме, историческую поэму. Подумай, какая глыба материала благодатного и бесценного.



Я рассказал Иосифу о своих размышлениях над «грузинским феноменом» и предложил так и назвать поэму. Он согласился, а затем, поразмыслив, пояснил, что сегодняшнее событие дало толчок к размышлению над темой, однако писать что-либо еще рано. Надо выждать несколько лет, пока не определится судьба этих людей в Израиле, и тогда засесть за работу.

На том и расстались.

Однако Иосифу не пришлось долго ждать. Не прошел и год, как я сообщил ему, что время работы над поэмой настало. У меня для этого скопился богатейший материал, который необходимо использовать.

То было время интенсивного потока иммигрантов, потянувшихся в Израиль со всех континентов. В тематике, посвященной этому процессу, западная пресса не скупилась на черную краску и откровенную клевету, когда речь заходила об иммиграции из СССР. Читать это было противно, и я просматривал подобное «по диагонали». Но однажды французская «Монд» дала небольшое сообщение под заголовком: «Грузинские евреи, кто они?» Вслед за этим сообщением потянулась цепочка материалов, помещенных в английской, американской, западногерманской прессе, а описываемые события, развернувшиеся в Израиле, приобрели столь сенсационный характер, что о грузинских евреях вскоре заговорил весь мир.

Нонешвили прилетел внезапно. Выслушав мой рассказ о происходящем в Израиле, упросил ознакомиться его с материалами прессы. Ему казалось, что я, упуская детали, обедняю содержание, поэтому он хотел знать все: в каком ключе преподносятся события, как расставлены акценты в отношении советских евреев вообще и грузинских в частности.

В субботу утром я выложил перед ним на стол кисты газет и журналов с закладками и начал излагать материалы, прерывая рассказ иллюстрацией фотографий или дословным переводом интересовавших его фраз. Он был весь внимание, ничего не записывал.

В то время выезд евреев из СССР в основном осуществлялся через Вену. Спустя несколько дней, пройдя «венское сито», иммигранты вылетали в Израиль.

Вот как описывал их прибытие туда французский журнал «Нувель обсерватор»: «Прежде в ночное время аэропорт Лод обычно бывал безлюдным. Рейсов не предвиделось, здание было погружено во мрак. Но это было прежде, а сейчас... Слева от посадочной полосы странная группа рослых светловолосых

людей в непомерно широких пальто, никак не похожих на израильтян, собралась у зарешеченной двери. Это русские! Внезапно толпу охватила дрожь и волнение: там, в начале по-лосы, приземлился самолет из Вены и подруливает к двери. Внизу у трапа несколько утомленных чиновников с букетами цветов встречают прибывших. Показывается первый пассажир, начинающий спускаться по трапу сначала медленно, а затем под напором неясных силуэтов, держащих узлы и детей, все быстрее. Вот уже виден кто-то опустившийся на колени и целующий священный бетон аэродрома земли обетованной. Пассажиры толпой направляются к двери, а сверху с террасы раздается вопль, понять который невозможно. Разве только иногда из общего хора вырывается: «Эстер, Демка, Сема, Мишал» Дождь записочек сыплется с террасы вниз. В них инструкции куда проситься, с чем не соглашаться. Однако никто не в состоянии их поднять.

В зале в стиле ультра-модерн пассажиры образуют общую кучу. Они топчутся у столов, сталкиваясь друг с другом, как мухи. Здесь начинается самое главное. Интеллигенты, насколько это возможно, направляются в приемные центры, где в течение пяти месяцев будут изучать иврит. Остальным, то есть большинству, предстоит путь в расширяющиеся города, резервированные для иммигрантов.

В небольшом зале, где определяют местожительство прибывших, идет живая торговля. Вот семья из Смоленска, взявшая в кольцо рабочий стол чиновника. Они имеют многочисленную родню в Тель-Авиве и хотят ехать только туда. Сначала на идиш, затем на русском чиновник объясняет им, пользуясь картой, что в Тель-Авив нельзя, там нет ни одного места, можно только в Димон, это не так уж далеко от Тель-Авива.

Семья удаляется на совещание, а чиновник, утирая пот с лица, объясняет стоящему рядом французскому журналисту, что это для него не трудности, а пустяки. Если он хочет видеть трудности, пусть придет, когда здесь будут «грузины». Когда одного из них направляют в один город, а его двоюродного брата в другой, разговор у карты они кончают кулаками, а ежели и это не помогает, громят все вокруг».

Чиновник не лгал. Все выглядело именно так, как он описывал. Он лишь умолчал о причинах поведения выходцев из Грузии. В то время не только он, но и правительство Израиля не ведало, кто к ним едет из Грузии. А причины поведения грузинских евреев заключались в следующем: население страны, в которую они прибыли, представляло разнородное, раз-



нохарактерное общество не только по классовому составу и политическим убеждениям, но и по культурному уровню, по национальным традициям, языку, внешнему облику, одежде, образу мышления, климатической предрасположенности, характеру отправления религиозных обрядов или атеизму. Характеризуя израильское общество, американский журнал «Ньюсуик» писал: «с 1948 года более чем один миллион двести тысяч евреев иммигрировали в Израиль. Они приехали из 94 стран и говорили на 70 языках. С массовой иммиграцией появился так называемый «Второй Израиль». 60 процентов населения Израиля это евреи «сефардского» или восточного происхождения, выходцы из стран Северной Африки, Азии и Среднего Востока, чьи культурные и социальные воззрения в огромной степени отличаются от воззрений европейских евреев... Доход восточных евреев равен только трем четвертям среднего дохода израильянина».

Рассмотренное по вертикали израильское общество представляет пирамиду, верхние ступени которой принадлежат «сабре» — евреям, родившимся в самом Израиле. Следующую позицию занимают «ашкенази» — евреи, выходцы из Европы. Затем идут «сефарды». Кончается эта пирамида у основания «гоями» — неевреями.

Как отмечала английская пресса, подобное распределение по этническим группам является одним из серьезных источников напряжения в стране. Иными словами, группы, которым отдается предпочтение, вызывают неприязнь групп, расположенных ниже по лестнице. В каждой категории существуют еще и свои подразделения. Например, иемениты котируются выше марокканцев, которых Голда Меир, премьер-министр Израиля, неосторожно назвала «пещерными евреями». И хотя это просочилось в прессу, вызвав недовольство марокканцев, они по-прежнему остались на последних ступенях.

Прибывших в Израиль грузинских евреев, не знавших неравноправия и притеснения, местные власти отнесли к «сефардам», а место им выделили ступенью ниже марокканцев, оказав прием на соответствующем уровне.

Не много времени понадобилось выходцам из Грузии для того, чтобы разобраться в местной иерархической пирамиде, оценить свое положение и заявить о себе с такой силой и решительностью, что об этом заговорила мировая пресса.

Первый инцидент, всколыхнувший Израиль, произошел в Нантании, где представители грузинской общины, насчитывав-

шей две тысячи человек, обратились к мэру города с просьбой о выделении помещения для синагоги. Им обещали предоставить его через два месяца. Прибыв в назначенный срок и получив вместо синагоги «от ворот поворот», они подняли на ноги всю общину, возвели вокруг мэрии баррикаду и объявили, что не выпустят оттуда никого живым, пока у них не будет синагоги.

В Нантанию хлынули журналисты.

«Они нас обманули, — кричали журналистам грузины. — Нам нужна синагога, и она у нас будет!»

Как отмечала местная пресса, перед мятежом, в основе которого были религиозные интересы, власти быстро сдались. Отныне повсюду, где расселялись грузинские евреи, даже ценой драматических осложнений с остальными иммигрантами, они стали в срочном порядке выделять помещения для устройства импровизированных «грузинских» синагог.

Один из участников мятежа рассказывал журналисту: «Мы приехали сюда в поисках Библии, и что же мы здесь нашли? Поначалу нас разъединили с земляками, и мы остались в одиночестве. Люди здесь суровые, черствые и, что просто невероятно, безбожные. Мне об этом говорили, но я не мог поверить этому. Афиши, расклеенные на каждом углу, пестрят голыми девками. Полностью отсутствует благопристойность. Как мне воспитывать дочерей в обстановке этого разврата?»

Вести об иерархической лестнице, отведенном на ней месте грузинским евреям и других особенностях израильской действительности достигли Грузии, поэтому каждая новая партия иммигрантов, прибывавших оттуда, уже знала, что места под израильским солнцем надо добиваться самим и притом весьма энергичным способом. По этой причине в Израиле назревали новые, более серьезные события.

В Лоде, в аэропорту, о котором уже шла речь, грузинским евреям предложили работать носильщиками. Они согласились, но попросили, чтобы все места носильщиков были закреплены только за ними. Власти удовлетворили их просьбу. В первую же субботу в порту начались беспорядки: носильщики не вышли на работу, и власти уволили всех до единого, даже не пожелав выслушать их объяснения.

Собрав всю общину, во главе с раввином они прорвались на взлетно-посадочные полосы и улеглись вдоль, раскинув руки крестом. Аэропорт был парализован. Полицейским силам с большим трудом удалось освободить летное поле. В своем выступлении перед многочисленными журналистами, корреспон-



дентами радио и телевидения раввин общины сказал: «Даже Сталин не заставлял нас работать по субботам, а здесь, на священной земле наших предков, нас хотят принудить предать нашу веру. Не бывать тому!»

Скандал получил большую огласку. Власти были вынуждены восстановить всех уволенных и подобрать дополнительную бригаду носильщиков из местных жителей для работы только по субботам.

Следующее, более крупное по масштабу и глубине последствий событие вскоре развернулось уже в морском порту, где грузинские евреи работали докерами. В связи со снизившимся объемом перевозок в порту решили уменьшить численность докеров и провести сокращение за их счет. В один день было уволено 400 человек. Неоднократные попытки найти с властями компромиссное решение результатов не дали. Их попросту никто не захотел слушать.

Собрав общину, тысячной толпой, вооруженной кто чем мог, они хлынули в порт. Разгромив служебные помещения администрации, нарушив коммуникации, они заняли круговую оборону, не допуская восстановления сигнализации и других атрибутов инфраструктуры порта, необходимых для нормальной работы.

Это уже было настолько серьезно, что в дело вмешалась Голда Меир. Она дала указание министру труда немедленно выехать на место, успокоить «грузин» и предоставить всем им работу.

На утро Совет Министров страны рассматривал «грузинский вопрос». Несмотря на то, что конфликт был быстро затушен, он все же получил мировую огласку. Отныне в международной лексике, отражающей борьбу трудящихся за свои социальные права, утвердился новый термин: «грев жеоржиен» — «грузинская забастовка». Так мировая пресса окрестила действия грузинских евреев в порту и отныне в любой иностранной прессе их стали называть коротко: «грузины».

Иосиф прервал мой рассказ. «У тебя что-то фантастическое получается. С горсточкой невооруженных грузин не в состоянии справиться ни полиция, ни армия, наконец. Кто этому поверит?» Разумеется, полиция, не говоря об армии, вмиг могла бы расправиться с «возмутителями спокойствия», имея на то необходимые условия. Дело в том, что описываемые события происходили в период бешеной пропагандистской кампании, направленной против Советского Союза, из которого надо было выкачать как можно больше иммигрантов по разным

причинам, в том числе в плане «притока мозгов» и для приглушения процесса левантизации Израиля в связи с потоком иммигрантов из арабских стран. В Израиле надеялись, что иммиграция из СССР, как бы сложна она ни была, в конце концов интегрирует и изменит характер страны, потому что состоит преимущественно из интеллигенции.

В этих условиях применить силу, не говоря об оружии, было бы безумством. Наоборот, вскоре правительство Израиля, можно предположить, не без воздействия на него активности грузинских евреев, приняло специальные меры в отношении иммигрантов из СССР. При этом оно, очевидно, сознавало, что процесс ассимиляции людей, прибывших в Израиль со всех концов света, протекал нелегко. Однако трудности, с которыми встретились выходцы из СССР, оказались гораздо сложнее, чем у кого-либо.

Досталось и грузинским евреям. О них писали разное: иногда с иронией, подчас с сарказмом. «Это не евреи, это грузинские мушкетеры», живущие и действующие под девизом мушкетеров: «Один за всех, все за одного!» Или вот так: «Когда иммигрант, прибыв в Израиль, поднимает вверх руку с двумя растопыренными пальцами, он этим символизирует «победу». Грузины тоже пользуются этим жестом, однако он у них символизирует не «викторию», а «Вольво» и «Виллу», за которыми они сюда пожаловали».

Этот далеко не дружелюбный тон отражал отношение к «грузинам» со стороны разных ступеней иерархической пирамиды. Итак, в Израиле к «сабре» или «ашкенази» «грузин» не подпускали, а к «сефардам» причислить себя они не позволили. Они остались новой самостоятельной категорией — «грузинами».

Прошло немного времени и материалы о грузинских, как впрочем и о всех остальных советских евреях, исчезли с газетных полос. Через много месяцев Голда Меир в беседе с корреспондентом французского журнала рассказывала о грузинских евреях: «За их иммиграцию, — сказала она, — была заплачена очень и очень высокая цена. Иммиграция «грузин» вызвала исчезновение крупного очага последней большой самобытной религиозной культуры евреев, в течение столь долгого времени строго и ревностно хранимого грузинскими евреями. Мы в Израиле не подозревали этого. Роскошные обряды Бухары, жизнь синагог Грузии, древняя религия татов, «Толкования Талмуда», сохранившиеся в этих общинах, насчитывающих более двух тысяч лет существования, все это в конеч-



ном счете расплавится в израильском горниле, перемелется израильскими жерновами. Четвертое поколение нынешних иммигрантов уже забудет о своем грузинском, бухарском и татском происхождении».

Мы просидели с Иосифом до сумерек.

«Теперь ты видишь, какой материал перед тобой и сколько его, не только поэму, тут гимн настоящему братству народов писать надо, это ведь твоя тема, ты ведь этим дышишь!»

Он не слышал меня.

«Подскажи, к кому мне обратиться. Я должен поехать туда, мне необходимо увидеть этих людей, пожать их мужественные руки, разделить хлеб-соль, поговорить с ними и узнать всю правду. Без этого я не могу писать. Мало ли что может написать буржуазная пресса, мне нужны другие источники».

Мы долго сидели, взвешивая все «за» и «против», и пришли к заключению, что даже если бы Иосифу был разрешен въезд, обстановка в стране была настолько сложной, что его приезд мог принести вред тем, ради кого он желал ехать.

— Подождем еще немного, — сказал он мне, прощаясь.

Откуда мне было знать, что это последние его слова, которые я слышал. Открыв однажды утром «Зарю Востока», я увидел портрет Иосифа в черном обрамлении.

Поэмы не получилось. Не успел!

Колеса отстукивали мерную дробь, я сидел в раздумьях над «грузинским феноменом», однако теперь рассматривал его через призму сложностей в межнациональных отношениях, проявившихся в последнее время.

Сколько мудрости, прозорливости и доброты проявили наши предки для того, чтобы создать, сохранить и передать нам священные принципы межнациональных отношений, построенных на чувствах взаимоуважения, взаимовыручки и настоящего братства, и святой долг каждого из нас: грузина и армянина, еврея и русского, азербайджанца и украинца, ассирийца и курда, представителей всех наций и народностей, населяющих сегодня Грузию, разумно пользоваться этим сокровищем.

Небольшой срок отведен нам на этой прекрасной земле и надо прожить его так, чтоб далекие наши потомки добром вспоминали нас.



## Несколько слов в дополнение...

Случилось так, что, будучи членом редколлегии журнала, не прочитал помещенную под рубрикой «Курьезы, курьезы...» реплику<sup>1</sup> по поводу статьи доктора исторических наук, профессора А. Козлова, опубликованной в № 16 за 1988 г. журнала «Политическое образование». И мне показалось не лишним добавить к реплике несколько слов и привести кое-какие дополнительные факты, касающиеся Гори, города, который в конце XIX века вовсе не был, как считает доктор исторических наук, «глухим, провинциальным», «средневековым» и т. п. На самом деле этот древний, упоминаемый в грузинских летописях с VII века город, был, как указывается в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона (том, выпущенный в 1898 г.), «одним из лучших уездных городов Тифлисской губернии». В Гори было 9 церквей, в их числе Успенская (с византийской иконой VI века), костел, две армянские церкви, Закавказская учительская семинария («с татарским отделением»), женская прогимназия. В Гори был похоронен декабрист генерал-майор И. Бурцов, погибший в бою с турками, а в начале этого века сюда попадали сосланные из России революционеры. В те годы, когда в духовном училище учились В. Кецохели и И. Сталин, в Гори было много грузинской интеллигенции, и среди них не только уже названный выдающийся педагог Яков Гогебашвили, но и известные писатели-народники Сопром Мгалоблишвили, Нико Ломоури, «грузинский Станкевич» Матэ Кереселидзе, в доме которого кипели споры и огромной библиотекой которого пользовался весь город. Ученик духовного училища Ладо Кецохели впервые прочитал Овидия, Шекспира, Писарева, Добролюбова, Бестужева-Марлинского именно в библиотеке Кереселидзе. А в русской газете «Новое обозрение» о Гори писалось, что здесь «вовсе не редкость видеть степенную туземку в тавсакрави, тракующую об экономических теориях Карла Маркса». И это «затхлая атмосфера», о которой говорит профессор А. Козлов? Это даже не смеш-

<sup>1</sup> «Литературная Грузия», № 12, 1988 г.



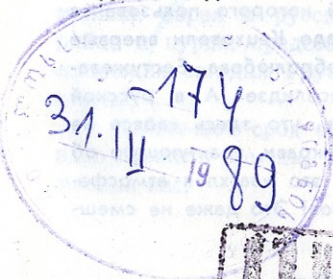
но, а уже грустно, когда историк не знает того, о чем пишет. Вульгаризаторский взгляд на церковь тоже не украшает автора статьи — и горийское духовное училище, и тбилисская духовная семинария воспитывали не аскетов и жестоких тиранов, а весьма порядочных священников, будущих учителей, деятелей просвещения, а кроме того, как это ни парадоксально, породили и чистых духом, проникнутых идеей жертвенности, бескорыстного служения нации революционеров. Джугашвили же стал Сталиным вовсе не под влиянием духовной атмосферы в горийском обществе и в училище, а вопреки ей.

Добавлю, что последнее время в центральных журналах и газетах публикуется много прозы и статей, в которых делаются попытки объяснить феномен Сталина. Берется за это, кажется, всякий, кто горазд, и среди авторов немало конъюнктурщиков, которые пытаются найти корни тирании в национальном происхождении «вождя народов», вкривь и вкось судят о Грузии, ее истории, происходивших в ней социальных процессах, по невежеству и в спешке лихо перевирают и названия городов, сел, и написание имен и фамилий.

На причину такого «интереса» к Грузии (дело тут не только в Сталине) точно указал в своем прекрасном эссе «Люби Россию в непогоду...» («Известия», 17—19 января этого года) писатель Борис Васильев: национальная болезнь наша, — пишет он, — «поиск причин своих бед и проблем... непременно на стороне... Где ищут причин, там находят врагов». Не пора ли советским историкам, писателям и журналистам понять, что всякого рода наскоки на грузинский народ вовсе не способствуют укреплению национальной, нравственной обстановке в стране, они отнюдь не ускоряют благотворных процессов, происходящих в жизни общества, а тормозят их.

А пока редакции «Литературной Грузии» не остается ничего другого, как продолжать публикацию материалов под рубрикой «Курьезы, курьезы...». Закрывать ее, увы, еще рано...

Михаил ЛОХВИЦКИЙ



## Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

### Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Михаил ЛОХВИЦКИЙ,

**Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,** Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили  
Корректор Т. Бадриашвили

---

Сдано в набор 22.01.89 г. Подписано к печати 15.03.89 г.  
УЭ 08828. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская  
№ 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд.  
л. 14,0. Тираж 6 000. Заказ 135. Цена 65 коп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина 14.



65 კ.

26-89

89-174

ИНДЕКС 76117  
საქართველოს  
ბიბლიოთეკა

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი  
„ლიტერატურნაია გრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

